

А. Воронов-Оренбургский

ИМАМ ШАМИЛЬ



Огненная тропа

ТОМ 2

18+

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

РОМАН ИЗ ЦИКЛА «ЭШАФОТ»

Андрей Воронов-Оренбургский

**Имам Шамиль. Том
второй. Огненная тропа**

«Автор»

2018

Воронов-Оренбургский А.

Имам Шамиль. Том второй. Огненная тропа / А. Воронов-Оренбургский — «Автор», 2018

ISBN 978-5-532-08068-3

1859 год. Кавказ в огне без малого полвека. ...Русские войска стальным кольцом окружили теряющийся в облаках исполинский кряж, где находилась последняя цитадель имама Шамиля. На место действия прибыл главнокомандующий князь Барятинский. ...Впереди всех ожидают чудовищные испытания, врата ада, а награда – кровь врага и пленение заклятого Шамиля. Хорошо понимает это и сам князь. Оно и понятно: его соперник и смертельный враг – человек-легенда, всемогущий и непреклонный Имам Дагестана и Чечни – великий Шамиль, священный Газават для которого, стал смыслом всей его жизни. Фотографии из личного архива автора. Для оформления обложки книги использован фрагмент репродукции панорамы Франца Рубо «Штурм аула Ахульго». Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-08068-3

© Воронов-Оренбургский А., 2018

© Автор, 2018

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	22
Глава 4	27
Глава 5	33
Глава 6	43
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Андрей Воронов-Оренбургский

Имам Шамиль. Том второй. Огненная тропа

Глава 1

Уо-о-ех-ех-ехи-ии!

...Гулко охала и стонала каменная грудь земли, распятая под множеством нещадно молотивших её конских копыт.

Аллах Акба-аар!

...Одноглазый Маги едва успел бросить за спину, в чехол, расстрелянную винтовку, как осатаневший конь, захваченный хлынувшей стремниной грив, рванулся и понёс во весь мах. Впереди, на фоне гончарно-красного откоса перстатой скалы рябила пунцовая черкеска Месело Отрубленной Руки. Неудержимо летело на встречу спасительное громадьё Каратинского каньона, через который дорога шла на Ассаб, Телетль, Бецор, Ругуджу вплоть до Гунибского плато.

– Р-раа-а-ур-ра-а-аа!

За спиной сына Исы взвыла трясучим колеблющимся ором атаманская сотня. Лютый крик понесло от скалы к скале многоголосое эхо. Сквозь клубы вьющийся пыли сверкнул проблеск казачьих шашек – жадных до мяса и крови, как клыки саблезубых хищников.

Мюриды, рванувшиеся от Килатля плотным роєм, рассыпались кто куда, дробясь и ломаясь. Ружья казаков без передышки стлали над головами горцев жужжащий визг пуль; они рвали впереди и под ногами коней колючие фонтанчики пыли и каменной крошки.

...Уо! Огонь горячего свинца опалил щёку. Маги, натягивая изо всей силы узду, перелетел через труп лошади, под брюхом которой корчилось тело Алту. Магомед не чувствовал ничего, кроме барабанного стука в ушах и боли в пальцах правой ноги, схваченной зубастой судорогой.

Выбитая бешеной скачкой мысль грызла в голове тяжёлый, намертво затянутый страхом узел.

Волла-ги! Из несущейся по пятам киповени казачьих бурок вырвалась одна, и точно летящая на чёрных крыльях смерть, нагнала урадинца. Разжав пальцы, Магомед вьелся занемевшей от рвущегося повода рукой в костяную рукоять шашки; с силой ударил клинком плашмя по потному крупу коня. Тот заломил шею, понёс ещё быстрее, кидая назад лихие сажени. Но крылатая смерть не отстала!

Нагнавший горца терский казак, занёс сверкавшую полосу стали; обрушил её на оголённую медную шею. Но револьверная пуля оказалась быстрее. В воздух взлетела намокшая от крови казачья папаха. В пыль брызнули осколки зубов, выбитых из гнёзд, из разорванного выстрелом рта.

...Краем глаза Магомед выхватил: в сторону перстатой скалы, что оставалась по правую руку, вспененный маштак протащил мертвого казака. Одноглазый видел только яркую струю лампаса да изодранную синюю черкеску, сбившуюся комом выше головы вместе с белой натальной рубахой. Нога гребенца застряла в перекрутившимся стремени, и ошалелый конь нёс, мотая оголённое тело по острым камням.

«Хужа Алла! Помоги! Поддержи!...» – Маги умолял кого-то, кто незримо летел над ним, ослепляя солнечным светом, кидая в лицо плотные, жаркие вихри ветра.

Его конь, мчался теперь краем меловой кручи, мимо зарослей орешника, шиповника, кизила. Магомед хватал неровными рваными глотками горячий воздух, рубил жеребца плёткой, стараясь не отстать, чувствуя, как жестко, на пределе, вымогаются из сил отвердевшие мышцы и сухожилия скакуна. Пытался облегчить его галоп, не касаясь седла, держался лишь в стременах. Считал мгновенья вдоха и свистящего жаркого выдоха; количество прыжков и ударов своего загнанного сердца. С отчаяньем видел, как медленно, но неотвратно увеличивается разрыв между ним и остальной, уносившейся прочь жалкой горсти мюридов, среди которых как путеводная метка мелькала пунцовая черкеска Отрубленной Руки.

Билла-ги! Худо было и то, что он сам, не заметив когда, потерял ритм, сбил дыхание, жадно и сипло дышал, под стать своему коню. А это значило: метко выстрелить, попасть в цель он не сможет! Его утомлённая плоть, казалось, налилась чугуном, дыхание захлёбывалось, в пересохшей глотке бурлил и клокотал шершавый ком. Глаза заливал из-под папахи горячий пот. Воля, которую он использовал, как палку, колотила его по мышцам ног, по горячим рёбрам, по содрогавшимся лопаткам и животу.

Он судорожно оглянулся, сердце скакнуло к горлу. Из-под ближнего угора вынырнули папахи казаков. Слух резанул пронзительный удалой посвист. Магомед наудачу разрядил последний патрон в барабане своего кольца...

* * *

Эти третьи по счёту роды у Мариам были самыми желанными, но и самыми тяжёлыми. Обычно женщины рожали на спине, но существовали и другие способы – стоя на коленях, или на ногах, в зависимости от течения родов. На женской половине, в отдельной, дальней комнате, за запёртыми дверями, Мариам рожала стоя, как кобылица; длинная нательная рубаша, со спущенными плечами и широкими рукавами была задрана до пояса, голые ноги раздвинуты.

Мариам держалась руками за вертикально, «на распор» установленный для сего случая крепкий шест, и хотя схватки были жестоки, не издавала ни звука. Женщина терпеливо ждала, только время от времени закусывала край стоячего ворота своей исподней рубаша, либо ремень из оленьей кожи, который ей всякий раз подносила ко рту, приглашённая дочками, старая опытная повитуха Зарема.

Хай, хай... Так уж, видно, было угодно Творцу: муки и страдания женщин могут разделить только женщины. Бог вещь, быть может, её глаза и блестящие от слёз, но других признаков слабости и волнения не было. Но младенец, как нарочно, наотрез отказывался покидать уютную утробу матери. Впрочем, закон природы таков: малыш должен прокричать о себе миру лишь, когда он сам будет готов. А потому Мариам, между схватками, благодарила Небеса, что она рождает дитя, хотя бы в мирном ауле, в подготовленной комнате, под чутким присмотром опытных старух, а не взялась за дело посреди боя, когда случалось у несчастных рожениц с собою не оказывалось даже ножа и пуповину приходилось по-звериному перекусывать зубами.

Прежде, рожая дочек, Мариам не испытывала особых сложностей; благополучно разродившись, она сама, без посторонней помощи приходила показать мужу дитя и вскоре возвращалась к будничной, рутинной работе. Но нынче случилась напасть, будто сам ветлорогий шайтан ворожил на её сына.

...Пот застилал глаза, щекотал-жалил грудь и лопатки, когда очередные тупые толчки внизу живота перехватили дыхание. На мгновенье, она словно провалилась в тёмную пустоту, как сквозь ночную хрупкую наледь. И вдруг её прорвало: она зарыдала. Сначала беззвучно, сцепив зубы, трясая головой, дрожа и скуля, как от озноба. Потом громко, всхлипывая, заходясь хриплым клёкотом. Чуть погодя во всю грудь, распахнув широко глаза, рыдая навзрыд, брызгая слюной.

– Тужься! Сильнее! Ещё, ещё!! Э-э, трусиха!

– Рач!а! Рач!а! Давай! Дава-ай! – каркали вокруг слетевшиеся старухи.

Безумная боль ослепила. Мариам на миг умерла, утонула в багрово-чёрной бездне непомерной боли, в которой, как на дне омута, было невозможно кричать и дышать, а только видеть, как из тебя вырываются пузыри жизни. Но ещё через мгновение, Мариам снова подавилась криком. Она захлёбывалась, хрипела, слёзы текли из глаз, а из развёрстого рта с воздушной струёй вырывался горячий стон.

И вот оно! Свершилось чудо! Вернее стало свершаться, под надсадные вопли обезумевшей роженицы и восхищённые возгласы, и громкие хлопки повитух.

Крохотная смуглая головка вышла наружу, глазки-щёлки были плотно закрыты, отчего личико в момент появления на свет глядело чуток сварливо...

Усилие, ещё, и на волю протиснулись маленькие плечики. Мариам, теряя сознание, ослабила хватку рук; пальцы заскользили было по шесту, но матёрая Зарема, коя заводила всеми и всем, вовремя кольнула острием шилом роженицу повыше ягодиц и угрозисто цыкнула на жену Гобзало.

Результат не замедлил себя ждать. Из подрагивающей плоти матери показалась маленькая смуглая, разделённая надвое попка младенца; две половинки были тесно сжаты, ровно два боба в стручке. Она ещё потужилась и тут, на последнем издыхании, весь «джигит» выскользнул легко, как головастик, на загодя протянутое, между ног, голубое байковое одеялко.

– О, Алла... Сын или дочь? – перво-наперво испуганно прохрипела она.

– Сын! Сын!

– Мальчик у тебя, хвала Аллаху! 1

– Сын... У меня есть сын,... Танка! Благодарю тебя, Небо! – сквозь слёзы счастья стонала и плакала Мариам.

Обессиленную мать ловко подхватили под руки и бережно усадили на мягкие войлоки, покрытые чистым бумазейным тряпьем; тучная, полногрудая старуха с выбитой из-под чухты растрёпанной, седой прядью, припадая на одну ногу, быстро склонилась над новорождённым и, колыхая рыхлой грудью, проворно перерезала острым ножом пуповину, завязала её на крохотном животике крепыша, звонко шлёпнула, чтоб тот начал дышать. И тот отнёсся к сему, как настоящий урадинец: ну, разве малость всхлипнул, почти бесшумно. Оно и понятно, малыш уже знал: крик может навести врагов на его племя, и потому по-аварски воздержался от громких восклицаний, как будет воздерживаться и впредь. А шлепок этот был, пожалуй, первым и последним, который он когда-либо получил от своего ближнего. Сей шлепок ввёл его в суровую, полную опасностей и риска, горскую жизнь, где не будет особых плетей, но будет возможность без меры, познать на своей шкуре все вероятные виды увечий.

Волла-ги! Так, в слезах и крови, в поту и страданиях, появился на свет малыш, которого отец по своему желанию и совету муллы, нарёк Танка.

* * *

Аллах Акбар! Аллах Акба-ар!! – беспорядочный грохот винтовочных и револьверных выстрелов гулко сотрясал предвечернее ущелье Урады. Раскатистое, визжащее эхо, на разные голоса, рвано и оглушительно скакало-ухало по гранитным стенам каньона, гудело в скалах, закладывало уши, распугивая злых духов гор.

–Э-эй, люди-и! Я мюршид Гобзало, сын Ахмата-та, говорю вам!.. У меня сын! Сы-ын! Джигит родился! Билла-ги! Он будет, как его прадед, дед, как отец – воин!.. Танка-а!! – его имя. Для чести. Для отваги. Для того, чтобы позвать человека!..

Трудно, да и бессмысленно описывать счастье Гобзало. Его радость была выше самых высоких гор Дагестана, парила вместе с орлами где-то там, в поднебесье.

Стоя на плоской крыше своей родовой сакли, бешено сверкая белками глаз, хищно скаля крепкие зубы, он продолжал безудержно палить в предвечернее бирюзовое небо и неистово восхвалять милость Всевышнего.

Переполющённые горцы, тотчас слетелись с оружием в руках со всей Урады, но тут же, смекнув в чём дело, восторженно поддержали пальбой и огненными танцами, душевный порыв счастливого отца.

* * *

Хай, хай... Из тьмы веков суровые горы Кавказа почитают рождение детей! Появление их на свет для горцев и степняков событие великое. Гремят барабаны, рокочут бубны, весело играют пандур и зурна. Радуются и ликуют все: молодые супруги, их родители и родственники, кунаки и соседи, – словом весь тухум. Воллай лазун! Разве может быть по-другому? Дети – продолжение рода, отрада в жизни, опора в старости. «Но каждый человек, который родился, ещё не человек. И каждая птица, которая летает, ещё не орёл» – утверждают на годекане убеждённые сединой старики, а они знают, что утверждают.

Потому, любящие горянки-матери, всегда поют над колыбелями сыновей сердечные, мудрые песни. Воллай лазун! Следует с первых дней, с молоком матери, – воспитывать в сыне горскую честь и дух; чтобы имя сына летело орлом в вышину, чтобы оно под конец не тускнело, чтобы не пришлось, потом кинжалам и саблям выправлять кривизну его жизни и не смывать кровью пятно позора.

Ай-е! Ведь далеко не случайно Имам Шамиль часто повторял воинам перед боем:

«Мои горцы! Любите свои голые, дикие скалы. Мало добра они принесли вам, но без земли нет свободы горцам. Бейтесь за них не щадя жизни, берегите их! И пусть звон ваших сабель да усладит могильный сон ваших достойных предков! Бейтесь! И никогда не забывайте колыбельную песню своей матери!»

Хай, хай... В горах говорят: «Нет ни одной матери, не умеющей петь. Нет такой матери, которая в душе не была бы поэтом». Вот где красота, вот где честь! Люди бывают разные: плохие и хорошие, так и песни бывают лучше и хуже. Но всегда прекрасна мать и песня матери.

Волла-ги! Вообще у горцев всего три песни. Какие? Хо! Первую из них поёт горянка-мать, когда у неё родиться сын, и она сидит над его колыбелью. Вторую из них поёт горянка-мать, когда лишается своего сына. А третья? Билла-ги! – все остальные.

«Да, мать... Правдивый, хотя и пристрастный свидетель цветущего и увядшего, рождающегося и гибнувшего, приходящего и уходящего. Мать, качающая колыбель, держащая на руках ребёнка, обнимающая сына, который уходит от неё навсегда... Талла-ги! Что может быть искреннее и правдивее её песен?

Песня матери – начало, источник всех человеческих песен. Первая улыбка и последняя слеза – вот, что такое она.

Песня рождается в сердце, потом сердце её передаёт языку, язык передаёт её сердцам всех людей, а сердца людей передают песню векам».¹ И какая вера в них! Какая любовь! Какая надежда!

...И Мариам, вторя песням веков, пела своему сыну Танка «Колыбельную», которую некогда сочинила мать Хаджи-Мурата, великого наиба и бесстрашного храбреца Шамиля. Вот как она звучала:

*Послушай песенку мою
С улыбкой на лице
О храбрце тебе спую,
О гордом смельчаке.
Носил он шашку на боку,
Достоинство храня,
В седло он прыгал на скаку*

¹ Р. Гамзатов, «Мой Дагестан».

*И умирал коня.
Границы он пересекал,
Как горная река,
Хребет горе перерубал
Он молнией клинка...
Орлом взлетал он к небесам
На огненном коне,
Как барс отважный со скалы,
Бросался в пасть войне.
Столетний дуб одной рукой
Он смог согнуть кольцом.
Да будешь ты, орлёнок мой,
Таким же храбрецом.*

Мариам ласково смотрела на улыбающееся личико Танка и свято верила в слова своей песни. И не знала, конечно, как не знала прежде и мать Хаджи-Мурата, какие испытания ждут впереди её сына...

* * *

Хай, хай... Рождение дитя для горцев событие великое. Но всё же, – рождение младенца мужского пола радость вдвойне! И у аварцев встречается с особым торжеством. Оглушительная пальба из ружей и пистолетов – красноречиво возвещает миру о сём подарке судьбы. Оно и понятно: «Для красы невесты – чёрная бровь и алые губы, для красы рода – мужчина и острый кинжал». «Родичи отца – по имуществу, матери – по душе».

...Гобзало, хмельной от счастья и поздравлений, не считал, сколько в тот день сжёг пороху и расстрелял в небо зарядов. Крепко помнил лишь то, что оглох от пальбы и здравиц. И ещё одно держал он в памяти. Как первой прибежала к нему спящему в комнату, радовестница – старая Сакинат, и задыхаясь от волнения, доложила, что Мариам благополучно родила ему наследника – сына. Гобзало возрадовался и тут же, как того требовал адат, подарил за добрую весть белого телёнка. А во дворе счастливого отца уже поджидали оповещённые кунаки. При его появлении они принялись палить из ружей и поздравлять наперебой Гобзало:

– Ассалам Алейкум! Мир Вам!

– Да будет его приход в правоверный мир к счастью! Пусть ему всё удаётся, и в военных, и в мирных делах!

– Да даст ему Аллах, чего хочет его отец! Иншалла!

Тем же часом повитухи и другие женщины, помогавшие роженице, были приглашены матерью Гобзало отведать праздничных яств и ягодный «курч».² Это кушанье в горах традиционно готовят для родильниц, и оно называется женским блюдом.

Сам же Гобзало попросил мулу привезти ему из мечети Коран, чтобы положить Священную книгу около ослабевшей жены для того, чтобы отогнать от неё нечистых духов, что тот и исполнил.

На мужской половине, в кунацкой, собрались родные, друзья и прочие одноаульцы. Мужского полу понабилась тьма – пуле упасть негде.

Счастливый хозяин, считавший рождение сына благодатью, посланною свыше на его семью, радушно встречал гостей, забыв о недавних обидах. В тот благословенный день были

² Курч – «...приготавливается следующим образом: всыпают помешивая муку в кипящую в котле воду, пока образуется густое тесто; потом снимают с очага котёл и делают посредине теста углубление ложкою, куда наливают топлёного масла с мёдом или ягодным сиропом; затем едят кушанье ложками.» Ш.М.Казиев, И.В.Карпеев, «Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке», Молодая гвардия, Москва, 2003г.

зарезаны два быка и больше десятка отборных баранов. Позже к пирующим подтянулись женщины и девушки в нарядных праздничных одеяниях.

Уо! Дом Гобзало, конечно, не мог вместить всех, потому войлоки и ковры для гостей были разсланы и во дворе, и фруктовом саду.

Радость и горе у горцев принято разделять сообща. Иначе, не выжить. Ведь одно дерево это еще не сад, а один камень ещё не стена. Это только хижина пришельца – на краю селения. Закон гор суров: кто не вместе с аулом, тот покойник без могилы. Хочешь выжить в горах, в каждом ауле строй по одной башне!

Воллай лазун! Веселье и танцы продолжались до глубокой ночи, покуда в котлах и казанах дымилась убоина. Водопадом сыпались поздравительные тосты. Вах! Вот где была воистину школа ораторского искусства, а также усвоения выковывавшихся веками сложных адатов и правил этикета!

Биллай лазун! Обилие бузы и пива у горцев, отнюдь, не повод для безоглядного пьянства. Пропойцы в горах от веку воспринимались как существа, потерявшие человеческий облик. Хо! Если такой и заводился в роду, он становился отверженным, посмешищем у одноаульцев, а порой и всего существующего сообщества. Тогда все отзывались о нём, как о «желудке незнающем своего дна»... Такому опустившемуся до сей низости, объявляли суровое наказание, – вплоть до изгнания из тухума и всенародное порицание. Пращуры завещали: барану – котёл, чабану – отара, воину – добыча и слава, пьянице – позор и презрение. Потому, что одна паршивая овца – всё стадо портит. Потому, что Коран запрещает пить вино мусульманам. И джамаат надёжно следит: чтобы не был нарушен обет, однажды данный людьми Всевидящему Аллаху.

...Гобзало вместе с другими, как того требовал и позволял ритуал, выпил большой, выпил малый рог ячменной бузы, и предоставив обществу веселиться и пировать далее, покинул праздничное застолье.

* * *

Небо стало больше, орнамент низких звёзд усложнился, в нём возникли новые мерцающие узоры, туманности и млечные мазки, когда он, поднявшись по ступеням, прошёл на женскую половину, в комнату, где с новорождённым лежала его жена. В комнате было темно. Лишь в небольшое ночное оконце, в которое от ветра стучала ветка тутовника, и лились серебристые струи полнолуной луны, слабо освещало опочивальню.

– Гобзало, ты пришёл... Рада тебе, – он услышал её слабый, но ясный голос. – Зажги свечу. Мы хотим с Танка видеть тебя. Как там родственники... гости как? Всего ли хватает?..

– Конечно. Забудь об этом. Ты как сама?

Дрожь прошла по лицу Гобзало, сердце замерло, в горле перехватило дыхание. Уж слишком слаб, был голос любимой.

– Мариам! Зачем молчишь? Как ты, родная? Тяжело тебе?

– Всё хорошо. За меня не волнуйся. Как ты? – с усилием выдавила она. – Почему не зажжёшь свечу?

– Сейчас, сейчас...

Он торопливо защёлкал огнивом. В маленькой комнате ожил слабый, но стойкий кинжальный лепесток свечи и желтушный свет наполнил опочивальню, бросая причудливые тени на закопчённое оконце, на лицо женщины и ребенка.

Гобзало, подошёл ближе, и, наклонившись, пылливо всмотрелся в родные лица.

– Правда, хорош? – прошептала Мариам, вся трепеща в ожидании вердикта мужа, глядя на его суровое, замкнутое лицо.

Она держала спящего младенца с левой стороны, в ревностном отдалении, и не позволяла отцу дотрагиваться до него.

– Да, клянусь Аллахом, в нём есть что-то особенное, – розовея шрамами, прошептал он, задумчиво всматриваясь в сморщенное личико своего дитя.

Взгляд отца выражал то же сосредоточенное внимание, радость и терпкую гордость, как и взгляд Мариам.

– Ай, молодец! Джигит... Орёл... – тихо роняя слова, как свинцовые пули, продолжал Гобзало. – Дай срок, расправит крылья и полетит.

– Иншалла. Бисмилах, бисмилах... – с торжествующей кротостью ответила она. – Так и будет. Посмотри, как он похож на тебя. Ай-е! Не трогай! Пусть спит.

Гобзало отдернул руку и тёмными, как чёрно-фиолетовая ночь, глазами изучал младенца, покуда Мариам ревниво не прошептала:

– Уф, Алла!.. Что у тебя за привычка скверная за всё руками хвататься. Ведь можешь потревожить его сон! – Она осторожно приподнялась на локте, и подбила круче подушку под своей спиной.

На стене вырезались вытянутые и неподвижные тени двух склонившихся голов: похожих на горбоносые профили орла и орлицы, склонившихся над своим птенцом. В большой голове «орла» жила странная, мучительная, но в то же время радостная дума. Глаза, не мигая, смотрели на младенца, и под этим пристальным взглядом, тот, казалось, становился больше и светлее, и мнимые крылышки его начинали топорщиться, расправляться и трепетать бесшумным трепетанием. А всё окружающее – выбеленная стена, покрытая у потолочных балок копотью, сундук, ковёр и даже сама Мариам, – всё это сливалось в одну ровную серую массу, без очертаний, без теней, без света. И чудилось обожженному, изрубцованному лишениями и потерями воину, что он вдруг услышал чистый, незамутнённый родниковый голос, из того чудного, прекрасного и светлого мира, где он когда-то жил и откуда был навеки изгнан войной.

Волла-ги! Там не знают страха преследования, не ведают о грязи и смертоубийственной бойне, о слепо-жестокое схватке Добра и Зла; замешанной на крови, лютой ненависти и религиозной вражде. Там не знают о муках и страданиях человека, попавшего в раскалённые клещи судьбы, исколотого штыками, исклёванного издевательствами и избиваемого плетью палачей. Там чисто, радостно и светло, и всё это чистое, – нашло приют в душе этого маленького, только, что народившегося на Божий свет, человека, которого, он мюршид Гобзало, любил больше жизни и готов был ради него на всё! К запаху слезившегося воска, шедшему от свечи, примешивался неуловимый сладкий аромат женского молока, и чудилось испытанному воину-гази, как прикасаются к его сыну дорогие пальцы, которые он так любил целовать, и хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнёт его уста навсегда, своим неумолимым и беспощадным предначертанием.

– Сердце моё, – он крепко стиснул ладонями её скулы, приблизил лицо к лицу. – Береги сына. Береги Танка, как зеницу ока! Он наше бессмертие. Он продолжатель моего рода.

«О чём ты говоришь, муж?! Всё сделаю, не терзай свою душу», – прочитал он в её преданных глазах. Гобзало разжал тиски своих твёрдых ладоней. А она, оторвавшись от душных подушек, припала к нему, уложив голову на выпуклые, полукружья мужниной груди, приникла к нему, словно вросла в него всем своим существом.

Так они моча сидели, точно боялись разбить чистый хрусталь доверительной тишины. От её слабого, нежного дыхания и выпитой бузы у него слегка кружилась голова. Мариам будто бы зажигала в нём угасшие светильники, давно минувших лет... И он, благодарный, в полной власти жены, на время утратив волю и имя, состоявший из её горячего шёпота и нежных прикосновений, странствуя в таинственном, создаваемом ею пространстве, крепче прижал дорогую жену.

Мариам притихла, словно притаилась, ещё сильнее прилепилась к его груди, и сердце её трепетало от радости и неизъяснимой тревоги. Ещё минуту назад у неё хватало сил скрывать от мужа своё чувство, но теперь, когда лицо Гобзало было рядом, когда она чувствовала его обжигающее дыхание, – всё затаённое вырвалось наружу, и она с глубоким вздохом взглянула на него благодарными, любящими глазами.

Непостижимая сила, как прежде, влекла их друг к другу, и в одном чувстве, в одном порыве, помимо воли, их губы слились. И не было бы, верно, конца их ласкам, если бы спящий рядом «джигит», не закричал и не напомнил о себе требовательно – и по-мужски.

Родители восторжеслись. Подобно чете орлов, услышавших голодный зов птенца, слетелись к гнезду. Их раскрасневшиеся лица осветили улыбки. Мариам по-матерински нежно, но сноровисто подхватила сына и положила его на руки отцу. И кроха-джигит тут же окончательно смахнул сон и улыбнулся ему своими чёрными глазёнками-бусинками! Воллай лазун! Здорово странно почувствовал себя мюршид Гобзало... Да, он много раз держал на руках своих любимых белок – Хадижат и Патимат, когда они были такими же, – не больше сапога, но дочки не в счёт... Ай-е! Другое, совсем особенное чувство испытал теперь Гобзало. И оно было прекрасным, до слёз...

– Давай его мне, – Мариам привычно скользнула рукой в глубокий разрез рубахи, приспособленной для кормления ребёнка, и её правая, пока еще не опустошенная грудь, отяжелевшая от молока, легла и заполнила её ладонь целиком. Кроха не мало сумняшется, тут же ухватился за неё и вскоре снова заснул, так и не оторвав своих розовых губёнок, от торчащего, как набухшая почка, соска.

Гобзало во время кормления сына стоял за спиной жены, приобняв её плечи. И она, управившись со своей миссией, счастливо откинула голову назад, и прижалась тёплой щекой к его склонённому лбу. Он снова отчётливо почувствовал запах материнского молока, этот сладко-кислый аромат, а потом все старые и родные с детства аварские запахи: огня, дыма, земли, жира, крови, пота и полной дикости, которую он, конечно же, не мог осознать...

– Ты куда? – она беспокойно скользнула взглядом по его лицу. В её агатовых блестящих зрачках отражался двоящийся оранжевый лепесток оплывшей свечи.

Гобзало не ответил, только провёл рукой по лбу, и ещё теснее сдвинулись его нахмуренные чёрные брови.

– Сейчас буду, – уже у порога хрипло обронил он.

Дверь хлопнула за его спиной, и обострённый слух Мариам сразу уловил множество различных шумов и голосов в доме.

...Из прихожей на двор, слышалось тяжёлое шлёпанье свекрови, во след ей летел ворчливый клёкот отца Гобзало...

...Внизу, под оконцем шушукались её старшие дочки: быть может, радовались рождению младшего братца Танка, а может, их занимали танцы и песни, или бесхитростная весёлая игра, что зовётся в аварских аулах «бакиде рахьин». Это состязание в лиричности, в остроумии, в умении быстро найти нужное словцо – вот, что такое эта игра.

...А у ворот буйволятника, угнездившись рядом на старой сухой колоде, захмелевшие от споров повитухи, глушили одна другую треском голосов, ни дать ни взять, как стая галок, не поделивших меж собою баранью кость...

Хай, хай... Всё слышала Мариам, всё ясно могла представить, что творилось вокруг... Но, оставшись с младенцем одна, она не в силах была разделить ни веселья игр молодых, где быстрые стрелы их чёрных, сверкающих глаз пронзали друг друга в огненных танцах... Ни поддержать разговоров о хозяйстве, о детях, о баранте опытных женщин, – решительно ничего. Радость рождения долгожданного сына, омрачал скорый отъезд Гобзало. Хужа Алла! Как боялась она за него, как стонало и обливалось кровью сердце!..Её жутко пугал этот отъезд. Дурное предчувствие угнетало душу. Пугала её и новая жизнь, пришедшая в Дагестан... Давила могильной плитой неизвестность. Ах-вах иту! Какие будут заведены порядки в горах?

Что ждать от этих неверных урусов, которыми горянки пугают своих детей? Что ждать от их всесильного Белого Царя, с которым полвека бились горцы Кавказа? Бились насмерть под предводительством трёх имамов и ...проиграли. В аулах болтают разное про Царя... говорят в своём Петербурге, он разъезжает на огнедышащем железном коне, вооружённый до зубов, в

окружении свирепых батыров. Каждый день, он только и делает, что рубит головы негодным, пьёт из их черепов кровь, других садит на кол. И ещё говорят, что ест он только нечистых свиней и собак, водит дружбу с шайтаном, а спит в огромном серебряном сундуке, под одеялом из золотых монет!... Уф, Алла... Холодно ему, наверное? Можно ли всему этому верить?..

Так, томясь страхами и сомнениями, крепко переживала Мариам, баюкала на руках маленького Танка, и даже не заметила, как вошёл Гобзало.

Глава 2

Одноглазый Маги, как безумный, проскакал ещё версту или две.

Один шайтан ведаёт, как запалённый конь смог вынести эту немыслимую гонку. Грудь беглеца готова была вот-вот разорваться, точно пороховая бочка, к которой поднесли фитиль; дыхание прервалось, но...горизонт был чист!

Талла-ги! Сквозь липкий пот и размыто-туманный жар он увидел: никто не гнался больше за ним. Мрачные древние стены каньона, его скалистые лабиринты надёжно укрыли сына Урады от шашек и пуль Белой Бурки.

...Магомед насилу успокоил надрыв загнанного сердца, с тупыми ударами изнемогавших мышц. Четвероногий спаситель тоже, как будто, вошёл в норму, но горец знал: тянуть время больше нельзя. Коня, запалённого скачкой, хоть убей, следовало выводить и промять, иначе он падет на ноги и тогда в помощь его страданиям останутся только кинжал или пуля.

Подобрав аргاماка уздой, приосанив горделивой выправкой, мюрид дал пятками посыл. Конь резво прынул вперёд, прижимая уши, но сдерживаемый крепкой рукой, неторопливо закрутил, держась теневой стороны.

...Когда всадник добрался до юго-восточных отрогов, расплавленное солнце окрасило охристо-жёлтый пейзаж в гранатовые тона. Каратинский каньон, что огромная рана на теле земли, открыл перед взором, свой ставший лиловым с сиреневой прожилью зев... Вечерело. Длинные густые тени легли от скал. Мюрид подрезвил коня – надо было поспеть засветло. Через пару часов пустынные долины окутает звёздная паранджа, сотканная из горячего шёпота духов гор. А жерло каньона превратится в аспидную смоль.

Аргамак вступил копытом на длинную извилистую тропу, которая незаметно сворачивала в сторону, брала вверх и вела к Ассабскому перевалу. Сын Исы дернул посеребрённый повод. Воллай лазун! Ещё час и они минуют зловещий каньон, который от веку был прибежищем грифов, ядовитых змей и тарантулов. Магомед позволил себе и коню передохнуть; не покидая седла, сделал пару глотков воды из круглой кавалерийской фляжки; теперь он не волновался – успеет до темноты.

Обзор был прекрасным. Его единственный, потому ещё более зоркий и цепкий глаз, зачарованно глядел на тревожные краски заката. На чисто-белые громады гор с призрачными очертаниями, на явственную воздушную линию их вершин и далёкого неба.

Ай-е! С данной возвышенности, как ни с какой другой на этой тропе, ощущалась вся даль между ним – песчинкой, горами и небом; вся грандиозность и вся бесконечность сей величественной красоты. Снежные пики, казалось, плыли по горизонту, блестя на клонящемся к западу солнце, своими нежно-розоватыми вершинами. От них веяло дикой свободой, первозданной чистотой и знобящей прохладой.

...Он перевёл взор: там, на юго-востоке, за необозримым нагромождением скалистых хребтов, подобно абреку-кровнику, скрывался заоблачный Гуниб. Магомед горько усмехнулся. Ему пришли на память последние, услышанные им, слова Имама Шамиля:

«Братья мои! От судьбы не уйдёшь. На всё воля Всевышнего. Сидя на коне в отаре не спрячешься. А я, как и вы, – на коне. Да... У Белого Царя руки длинные, и неисчислимы его полки. Но есть места в Дагестане, куда и Ему не дотянуться. Волла-ги! Мы пойдём на Гуниб-Даг. Поднимемся на его поднебесное плато, запасёмся провизией, порохом, ядрами и свинцом; всемирно укрепим горные тропы неприступными стенами-башнями, и дадим гяурам последний бой! Верю, Милостивый Аллах да не забудет своих сынов...И да не отвернётся от них в суровый час испытаний. Так было прежде, так будет ныне. И знайте: коли урусам и суждено будет взять Гуниб, они выиграют только битву, но не Газават! Билла-ги! Наши внуки

и правнуки ещё не раз отомстят поганым псам за нас, обрушив на них праведные гроздыя Кавказского гнева! Аллах Акбар! Иншалла!».

Вдыхая чудные запахи цветущих соцветий шиповника, барбариса, нежный розовый, жёлтый свет скальных цветов, он оглядливо тронул коня. Был благодарен Небу за этот счастливый зигзаг судьбы, уберёгший его от гибели; за эти напоённые свежестью горные склоны, зелёный блеск солнца на ветке придорожной чинары, за слюдяные проблески разноцветных стрекоз и белое трепетание бабочек.

Одно властно и кроваво перечёркивало всю эту божественную красоту, низвергало сердце с горней высоты в тёмную бездну отчаянья. Перед глазами продолжал трещать и лопаться солнечный мир!.. Воздух был нашпигован свистящей смертью, и мчавшиеся на конях мюриды, то тут, то там внезапно вскидывали руки, дырявленные свинцом, срывались с седел под копыта казачьих коней и шашек, кто, молча, срезанный насмерть, кто корчился и хрипел, задыхаясь в предсмертных муках. «Гобзало!» – мысль о суровом мюршиде обложила льдом грудь Магомеда.

– Хужа Алла... – прошептал он, чувствуя, как сжимается в мозгу холодный узел страха. Он продолжил спуск по тропе, не в силах поверить в этот стремительный и трагический поворот событий. В висках пульсировала боль, желудок свело, он почувствовал себя разбитым до последнего сустава. – Э-ээ... что я скажу ему? Горе мне! Как посмотреть в глаза? Шакал я самолюбивый! Лишь свой лай слышу. Вай! У подлого только и славы, что большой тухум! Ведь было приказано мне: не вступать в схватку с гяурами, лишь следить за врагом и вовремя упредить о его приближении! Э-э-эй... Дадай-ии!!

Страшная правда клещами схватила сердце. Перед взором снова возник суровый образ наставника и его напутственные слова сами собой зазвучали в ушах. «Помни, брат, что защищаешь землю, где родились и жили наши предки, где покоятся их кости, и не уступай в храбрости им! Много сил положили они на защиту наших гор, их священной кровью до самой сердцевины пропитана земля! Теперь – наш черёд, Магомед... Только помни наказ Шамиля: «Шашек из ножен не вынимать! Гяуры не должны обнаружить вас». Помни и мой наказ, брат. До моего возвращения – чтобы новая пыль не осела на копытах ваших коней. Береги вверенных тебе людей... Чего бы это тебе ни стоило».

Одноглазый Маги внутренне содрогнулся. «Вай-ме! Колдовская сила заворожила меня... Шайтан толкнул на необдуманный шаг! Э-э, пр-рощай моя честь! Уж лучше бы меня сразила пуля неверных... Или самому взять кинжал да перерезать себе горло».

Так, обуреваемый чёрными мыслями, он рысил краем тропы по траве, почти крадучись, когда, чу! – далеко впереди услышал шорохи и хруст камней. Тотчас, бесшумно съехал в сторону, спрятался за скалой, взвёл курок и стал ждать.

Синий сумрак расселины поглотил его с конём. Нагретые солнцем плечи ощущали влажный тяжёлый воздух, стекавший с замшелых стен. Раздутые по-волчьи ноздри впитывали чистый дух близкого родника. Напряжённый взор успел разглядеть тёмные сырые потёки на базальтовых глыбах, обрывок перламутровой паутины, бесшумный проблеск крапчатых, с изумрудным отливом птичьих крыльев.

Губы Одноглазого беззвучно повторяли молитву... вдруг, впереди, за поворотом, где вновь открывалась бездонная пасть каньона, послышался отчётливый стук копыт по песку: чек-чак, чек-чак... чек-чак...

Маги молниеносно вскинул винтовку к плечу; поймал на мушку тропу, палец уверенно лёг на спусковой крючок.

...Чек-чак, чек-чак!..

– Уф Алла!.. Стежка пота сорвалась с его лба. – Он с облегчением выдохнул, положив карабин поперёк седла. На тропе, залитой солнцем, как факел, вспыхнула пунцовая черкеска Отрубленной Руки.

– Уо! Не стреляй, Месело! Это я, брат! Салам...

Поворачивая морду коня так, что тот, часто переступая, пошёл боком, Магомед выехал из укрытия, – крикнул, скаля белые зубы.

– Аллах Милостив... Рад, что вижу тебя без пули во лбу!

Месело, мгновение назад враждебно сосредоточенный, опустил свой кавалерийский штуцер, дикая весёлая искра сверкнула в его ярких ястребиных глазах.

– Алейкум салам! Видел кого ещё? – подъезжая почти вплотную, с надеждой бросил он.

– Нет, никого... – сбивая черенком плётки папаху с бровей на лоб, буркнул Одноглазый. – А ты?

– Сайпулаг убит. Машид убит. Гасан тоже... Волла-ги! Больше никого не видел.

– Они уже в раю!.. – мрачно скрепил Магомед, прежде чем рот ему сомкнула злая судорога. – Мы отомстим за вас, братья.

– Проклятые белые псы! Дэлль мостугай! Всех резать надо! Ва! Что делать будем?

Сын Исы поймал на себе чёрно-карее дрожание свирепых глаз Месело. Уо! В них была ярость, неистовая слепая страсть резать и убивать урусов.

– Билла-ги! Что делать будем? – нетерпеливо прорычал он.

– Едем в Гуниб. Надо пробиваться к Шамилю.

– Как же Гобзало? Он найдёт нас? – ястребиные глаза Отрубленной Руки неподвижно глядели почти в самый центр лба урадинца.

– Он? – Маги хищно улыбнулся – белозубо и тонко, спокойно ответил. – Гобзало волк. Всем волкам волк. Хо! Он читает следы, как мулла Коран. Он найдёт. Только, что я скажу ему? – хрипло процедил Магомед. Словно кто-то пытался перерезать ему глотку, но немного повредил голосовые связки.

Бородатый Месело несколько мгновений испытующе смотрел на побратима, потом тоже улыбнулся, показав ряд сломанных в драках зубов. Зловещая улыбка стала шире, пока не превратилась в ножевой порез, пересекающий его лицо.

– Э-э! Как было, так и скажем. Что-о!? С ним не могло такое случиться? Талла-ги! Думаешь, он... оставил бы наших братьев в беде? Не забывай, урадинец... – в смоляной бороде насмешливо искрились розоватые близкие губы, под вздетой крылатой бровью, сыро сверкнул чёрно-аспидный глаз, и Магомед услышал надменно-медленный голос:

– Они были воины Аллаха, как и мы с тобой... Выживает сильнейший, брат. Слабый должен быть уничтожен. Так гласит со времён сотворения мира – суровый адат гор. Воин-гази, как и шахид-смертник, знает: его смерть при каждом вздохе – в шаге от него. Э-э, всё просто и яс-сно, как сама жизнь.

Месело, желая что-то услышать в ответ, долго смотрел чернильными глазами на урадинца, ловил его взгляд, но тщетно. И тогда, желая сменить тему, весело цокнул зубом:

– У нас всю дорогу, одна и та же пыль: где падаль – там ворон, где покойник, там мулла. Хэ, хэ-э...

Магомед промолчал, хмуро вглядываясь, в петлявшую по отвесным склонам тропу.

– Далеко скачем? – Отрубленная Рука не покидая седла, подтянул подпругу.

– Увидишь.

Мюриды, стоя на стремях, махнули плетью, зарысили.

Горный ветер бил в тёмную бронзу лиц, трепал чёрные лохмы папах, трепал конские хвосты и гривы, сулил к ночи дождь. Под Месело из Гуни споткнулся кабардинец-полукровка. Плохая примета. Хозяин обжёг его плетью меж ушей, выругался; конь сколесив шею, зло посмотрел на него, перебил на намет, но куда там! Кусачая плётка защёлкала-загуляла по его рыже-пегим бокам.

* * *

...На второй петле спуска Месело не выдержал немоты; поравнялся с Магомедом, расправляя усы, спросил:

– Если Гобзало не суждено будет найти нас?...

– Не каркай! – его встретил враждебный взгляд.

– Я задал вопрос! Что теперь?

Маги ощутил на себе пристальный, напряжённый взор Отрубленной Руки – будто в скулу заколотили гвоздь.

– Теперь будем резать русских свиной. Аллахом клянусь! Они проклянут тот день, когда покинули чрево матери.

– Что потом? – в мрачных глазах Месело будто отразился исполох грядущих боёв.

– Что ждёт всех мюридов. – Магомед усмехнулся и вдруг щёлкнул зубами, как волк. –

Рай с персиковыми садами... и прекрасными девами.

– Хо! Но прежде смерть от рук палача.

– Иншалла! И пусть он не медлит. Смерть быстрая, а мука долгая. Едем!

* * *

Хай, хай... Мариам со времени девичества тайно заглядывалась на Гобзало, но пугалась его смелого, сильного взгляда.

Волла-ги! Высокий, бритоголовый, с закинутыми за спину концами башлыка, обвешанный оружием, с большим длинноствольным револьвером за поясом, когда он входил в дом, то заполнял его своим сердитым громким голосом. Дочки и Мариам боялись его и любили одновременно.

Так было и теперь.

– Мариам! – он окликнул жену.

Она вздрогнула от неожиданности, крепче прижимая к груди сына.

Гобзало быстро прошёл и поставил на пол что-то объёмное, накрытое парчовым покрывалом.

– Это подарок Танка, чтоб он помнил свой день, когда появился на свет! И маленькие дети видят большие сны.

Расправляя плечи, он откинул мерцавшую золотой нитью бахромчатую накидку. У коленей жены мягко качнулась туда-сюда нарядно украшенная люлька¹, на дне которой лежал старой, добройковки кинжал.

Гобзало вынул из колыбели клинок в узорных серебряных ножнах. И держа его на свету, жадно оглядел чернёное серебро, перламутровые инкрустации, арабские витиеватые надписи, среди которых сияли вкрапленные сердолики, яшмы и ониксы. Восхищённо цокнув зубом, вытянул на половину лезвие, на котором зажглась голубая слепящая молния, по дну которой, на острейшей стали тоже струилась арабская вязь.

– Э-э, знаешь, что тут написано? – Он с мужским превосходством, сверху вниз, посмотрел на жену, снова цокнул языком, и сосредоточенно-серьёзно, вполголоса, с какой-то особой торжественностью изрёк:

– «У отца была рука, в которой я не дрожал. Будет ли у тебя такая?» Уо! Хорошо сказано, клянусь Небом. Этот кинжал мой дед когда-то положил в люльку моему отцу. Отец мне. И вот теперь я – сыну. Волла-ги! – Он с лёгким звяком вогнал клинок обратно в узорные ножны. – Верю, что и в руке Танка он не дрогнет. Иншалла. – Гобзало подвесил кинжал в изголовье люльки, а под густое баранье руно, что заменяло подстилку, уложил два отрезанных им волчьих уха и широкое бело-крапчатое с чёрной отметиной на конце перо из хвоста беркута. – А это тебе, родная. Помнишь? Я говорил: женщина, подарившая нашему роду сына, заслуживает высших похвал и дорогих подарков. Ну-ка дай свою ладонь.

Она с молчаливой покорностью протянула руку, и на её запястье защёлкнулся массивный двусторчатый браслет. Покрытый зернью, украшенный чеканными выпуклыми шишечками и бирюзой он был необычайно красив, и право, мог бы украсить руку любой грузинской княжны.

– Будь богата и счастлива! – Он горячо обнял её.

– С тобой мне всюду рай. – Не поднимая глаз, тихо и скорбно ответила она.

– Что с тобой, душа моя? – встревожился Гобзало. – Ты любишь и любима... О чём же, можешь грустить? Говори, что хочешь сказать! – Он обнял её, привлёк к себе, крепко обхватил руками, заглянул в глаза.

Жена покорилась этой уверенной силе; его голос, слова его проникали ей в душу, она таяла, растворялась в них, безмолвно им подчинялась. Вся смятение, она продолжала молчать и ласкать туманным, от прихлынувших слёз, взором его высокую, широкоплечую фигуру; крепкие, стройные ноги, уверенно ступавшие по земле. Силой, отвагой и стойкостью дышал весь его мужественный облик. И слёзы сами потекли, падая на её улыбающиеся в дроглой улыбке, искусанные при родах губы.

– Да, что с тобой, Мариам! – прорычал Гобзало, словно горячая пуля ударила ему в сердце. – Зачем молчишь? Не надо!

– Мне с тобой всюду рай, – вся дрожа, отозвалась жена. – А где твой рай, с кем? Со мной!? С ним?! – она сверкнула слезами, глядя на сына.

– Я воин Аллаха. И мой рай – под тенью сабель! Так вещает Коран. Ай-е! Одноглазый Магомед прав. Все женщины одинаковы! Ваши пули – слёзы.

– Магомед говорит одно. Али другое. Уступи хоть раз мне, послушай жену... – безотчётно воскликнула она, подняла на него свои лучистые полные слёз глаза и тотчас опустила их.

– Замолчи, женщина.

– Я не буду молчать в этот раз... У меня есть...

– Замолчи! – Гобзало, вскипая от гнева, терял рассудок, но не мог оторвать от неё глаз.

Мариам словно оцепенела. Низко склонила голову, прикрыла глаза густыми полумесяцами чёрных ресниц, и только её тонко очерченные ноздри слегка вздрагивали. Но вот, она глубоко вдохнула, положила сына в люльку, укрыла сафьяновым пологом, чтобы свет не мешал спать, и тут, – чаша её испытаний переполнилась, и она заговорила тихо, но властно.

– Зачем ты пришёл? Проститься? – сердце громко колотилось в груди. – Дадай-ии!

– Мариам!

– Проклятый! – она впиалась отчаянным взглядом ему в глаза. – Я почти перестала тебя ждать... Я почти научилась не тосковать о тебе! Гобзало! Надо опомниться! Надо начать переговоры о сдаче. Это понимаю даже я – женщина, сидящая у очага.

– Нет! Никакой сдачи! – в его глазах блеснули кинжалы молний. – Ты женщина думаешь, как женщина. А у бабы, ума в голове, как волос на курином яйце! Слышишь, меня?!

– Бисмилах... Бисмилах! За что нам такое? Опять Дагестан в огне... Чем-то мы прогневляли Небо? Какой-то на нас всех грех и проклятье! На мне, на тебе... Вай-уляй! За это нас Аллах и карает!

В Гобзало вспыхнула внезапная ярость, желчное отрицание.

– Волла-ги! Нет никакого греха! Трусливые шакалы предали Имама! Изменники разорили страну. Открыли горные тропы и впустили врагов! Стрелять, резать их надо! Билла-ги! Для этого еду в Гуниб. Сам, своими руками... Буду резать, стрелять, как собак!

– О Небо! – ужаснулась Мариам, кладя ему руку на лоб, закрывая ладонью брызнувший из-под сведенных бровей пучок ненависти. – Хватит крови! От крови, другая кровь, а от той третья! И так бесконечно. Надо очнуться! Замуровать этот клокочущий кровавый ключ. Остановить потоки багровых рек!

Он совсем рядом увидел в полумраке её лицо, тихие шёпоты молитвенных слов, знакомые нежные запахи, чуть видимое сияние кожи... Почувствовал трепет сырых ресниц, словно у губ его шелестела и трепетала бабочка.

– Муж мой... Я знаю все твои раны и шрамы... и не хочу, чтобы на твоём теле были новые. Вай-ме! Скажи своей жене, ну чего, ты, добился на этой войне? Кого сделал счастливым? Ты стал набобом? Спас Имамат? От него осталась одна пыль, обломки, ничто. Войско Шамиля, которому ты служил, развалилось само собою! всю жизнь ты скитался там, где убивают, дымятся руины аулов, валяются трупы и кружиться вороньё! И вот ты наконец-то явился, как загнанный волк, и думаешь, что тебя пожалеют? Залижут раны твои?

Она зло засмеялась, помолодевшая, похорошевшая от своей неприязни к нему и истово продолжила:

– Человек мечтает, судьба смеётся. Всё это было не к чему! Твоя война одиночки и таких, как ты, – ничего не значит. Ты только навлечёшь беду на наше ущелье. День гнева близок. Берегись! Да продлит твои дни Аллах.

– Замолчи! Если не хочешь, чтоб моя кровь обагрила тебя! – Его железные пальцы сомкнулись на её запястьях. – Или клянусь Всевышним, я накормлю стервятников своим телом.

И столько было неукротимой яри и страсти в голосе Гобзало, что её пронзил страх за него.

– Мне больно! – взвилась она, тщетно, пытаясь освободить свои руки.

– Вот и хорошо, что больно! Женщина, не лезь в дела мужа! Не то вместо языка, с тобой поговорит моя плеть.

Хай, хай... Мариам знала не понаслышке, что такое эта плеть из козьей ноги, с окаменевшим узелком-фасолиной на конце! Держак плётки мужа и впрямь был искусно обтянут шкурой с ноги дикой козы; на конце сохранилось даже крохотное копытце, которое столь же искусно было украшено серебряной подковой. Уо! От правильного удара плёткой лопалась кожа на теле с первого раза... Но всё же страх перед плетью оказался слабее страха за жизнь Гобзало, и Мариам не задумываясь бросила ему в лицо, темнея зрачками:

– Ну, что же бей! Если тебе от этого станет легче.

Уф Алла! Разбуженный перепалкой родителей, в люльке захныкал Танка, но, видно понял, – старшим не до него, и вновь засопел.

– Э-э, дай его мне подержать, – Гобзало усмехнулся крохе-сыну, хотел протянуть к нему руки, но обжёгся, напоровшись на огненный взгляд Мариам.

– Не трогай! Даже не прикасайся к нему! Он рождён для другой жизни. Я не могу больше жить в страхе и ждать весть о твоей смерти.

– Можешь! – теперь он взял жену крепко за плечи и несколько мгновений смотрел ей прямо в глаза.

– На что, ты, надеешься? Думаешь, духи гор... спасут тебя? – не испугалась она.

– Мариам!

– Нет! Не хочешь слушать меня, послушай хоть сына! Он, не увидев наши горы, не вкусив радости жизни, умрёт, как и все другие. У меня ничего нет! И у тебя тоже. А скоро... из-за волнений и страха иссохнет моя грудь, не будет и молока... Шамиль обречён. Ему уже не помочь. Пощади, Гобзало! Остайся в Ураде, как другие... Тогда, мы хотя бы спасёмся.

– Нет!

– Пожалуйста, умоляю тебя! Не покидай нас! – в глазах у неё блеснули слёзы отчаянья.

– Обними меня, жена.

– И не проси!

– Я не прошу. Я требую.

– Я обниму тебя! Я всегда обнимала тебя и любила... – Мариам закрыла лицо руками, чтобы он не видел её слёз.

Он долго смотрел на жену; в тишине она почувствовала, как жжёт ей лицо взгляд мужа.

– Послушай теперь меня, – Гобзало встал, скрестил на груди руки, подошёл к окну. – Мариам, когда я последний раз покидал Ураду, я верил в Газават. В нашу борьбу с неверными... Ибо это единственное, что мне знакомо. Но после измены набов... Клянусь, я каждую ночь потом думал о сдаче урусам. Я удивлялся, что продолжаю воевать с ними. Скажу честно и прямо: мне было страшно, потому, что я... тоже не хочу умирать. Потому, что я хотел увидеть тебя, дочерей... и сына. Но сегодня, когда я смотрю на вас, и вижу тебя с Танка на руках... Воллай лазун! Я перестаю удивляться и мне не страшно. Биллай лазун! Сейчас, больше, чем когда-либо, я готов отправиться на защиту Гуниба и нашего Шамиля. Ты, останешься здесь в Ураде. Не спорь! Барабанные Шкуры не причинят вам вреда. Приказ Ак-паши: убивать только «непримиримых».

Мариам!.. Я так давно не видел тебя... Желанная!.. – тихо, почти шепотом, говорил Гобзало. – Родная моя! – Он нежно провёл медными пальцами по её бледному лицу. Откинул назад спутавшиеся косы и тяжело вздохнул, не в силах оторвать глаз от любимой. – Но наши горы! – твёрдо прозвучал его голос. – О Небо... Моё имя Гобзало. Я здесь, чтобы склонить в почтении голову перед родным ущельем, перед живыми и мёртвыми...

Чтобы воздать должное своей жене, подарившей мне сына Танка. Аллага шекур! Ты хорошая мать моих детей и жена. Ты никогда не думала о своём благе больше, чем о благе других. Урада была нашей первой и самой большой любовью, разве не так? Мы оба жили и живём этой любовью. Мы мечтали о нашей земле без тиранов и деспотов. Об Ураде и Гидатле, где сын никогда не поднимет руку на отца. Братья да не крестят оружия. Где все горцы будут жить в мире друг с другом. Ай-е! Я прошу тебя, присоединиться ко мне, жена. Понять и разделить смысл моих слов, крик моего сердца, воздать почести и помнить о тех, кто отдал свою жизнь за счастье наших гор! Жена, я, Гобзало, твой муж, даю тебе слово, над колыбелью нашего сына... Я не приклоню головы до тех пор, пока горы, в которых мы живём, не станут свободными, о каких мечтали те, кто погиб.

Будь со мной до конца, жена. Воллай лазун! Я не только сын Ахмата, тот, кто бился с урусамы двадцать зим, я ещё и потомок неистового Хочбара, ведущего свой род от прославленного Шамхала – основателя Гидатля, чьи корни уходят во тьму веков.

Биллай лазун! Великий Шамиль с благословения Аллаха протянул нам, горцам Кавказа, свою руку, наполнил нас верой и силой, вложил в наши ладони оружие! Мариам, я протягиваю тебе свою... и в ней сила высшая среди смертных. Она дарована нам Всевышним. Эта сила больше власти князей и царей. Мы будем биться, жена: за честь наших гор и детей, во имя величия Имамата – от моря до моря, единого и свободного! Иншалла. Ты знаешь: добро не гниёт, враг не забывается. То, что затронул пастью волк, – не тронь! Оставь ему.

Уо! Гобзало обнажил свою душу.

Он жаждал отклика от неё, понимания... Но Мариам упрямо молчала. Лицо её, то вспыхивало, то гасло. Вдруг гнев сверкнул в её глазах.

– Лжёшь ты, лжёшь! Аллахом клянусь, лжёшь! Ты любишь только себя, а не нас! Ты любишь войну и себя в ней!

Гобзало не ожидал такого нападения от жены, опешил, скулы его задрожали и налились свинцом. В нём всё выше и гибельнее вздымалась волна раздражения и отчуждения. От бабьего лепета, от облегчённых ответов на роковые, не имеющие ответов вопросы, среди которых погибал Имапат, был опрокинут на лопатки Кавказ, убиты многие тысячи горцев и многие ещё будут убиты гяурами! Таллагы! Ему казалось, он падает, проваливается сквозь твердь в пустоту, в погибель. «Змея, змея ты ядовитая! – отшатнулся Гобзало. – голову бы тебе разможжить!»

Она вдруг перестала бросать обвинения, почувствовав его холодность. Испуганно взгляделась в него. Прозрела! Точно уловила его ужас, угадала падение. Подхватила его на лету, спасая, возвращая обратно в оранжевый свет оплывшей свечи.

– Хужа Алла! Прости меня женщину! Прости, мой господин...

Липкий, животный страх за мужа, сменился, наконец, восхищением перед его несгибаемой волей и мужеством. Дольше не в силах бороться с собой, она поднялась с подушек и робко подошла к нему. Она, любящая, не столько видела, сколько чувствовала его бесконечно усталое лицо, с такой любовью и призывом, с такой надеждой обращённое к ней.

Ей трудно было говорить. Да и что могла она сказать? Упрекать в том, что он оставался верен клятве воина данной Иمامу Шамилю? Или, что пришёл к ней с сыном попроситься перед отъездом? Но ведь все её мысли, все душевные мольбы неизменно были обращены к нему, чтобы примчался он, появился, как долгожданное солнце, или как гром среди ясного неба... Чтобы ей, ещё хоть раз удостоиться встречи с ним, хоть ещё раз изведать женское счастье, сказать ему ещё раз о своей беспредельной любви. Ещё раз открыть свою душу. Слить своё сердце с сердцем единственного.

Она заплотило гладила его напряжённую шею, лицо, пробиралась быстрыми горячими пальцами под ворот его черкески. Расстёгивала пуговицу на бешмете.

– Ты прости меня! Не слушай! Я так рада, ... рада, что ты приехал! Не забыл нас, ... клянусь Аллахом, я всегда, до последнего вздоха, вместе с детьми буду ждать тебя, муж мой. Прости, глупую! Возомнило железо возле золота, что так же блестит...

Гобзало с достоинством промолчал. Шевеля лишь губами, прочёл молитву, огладил себе лицо руками. Затем гордо выпрямился, сделал шаг на встречу, чувствуя – победа за ним и без плётки, – лицо его озарилось.

– Иншалла... – запоздало пробормотала она. Замерла в его объятиях, притаилась на груди мужа, почти не дышала, как куница, почувствовавшая близость орлиных когтей. Сладкая истома раскаяния охватила Мариам, она поникла бессильно, и вдруг стон вырвался из её груди, вскинув гибкие руки, она обвила их вокруг шеи любимого. Гобзало приник к её ждущим губам долгим жарким поцелуем.

– Мариам! – простонал он, лёгким движением подхватил её на руки и стал покрывать поцелуями.

Тлеющий фитилёк прогоревшей свечи мигнул и погас, голубой дымок скользнул к потолку и истаял... Тревожный предрассветный мрак залил комнату. В глубокой тишине изредка слышался только воркующий шёпот супружеской четы: они, как и прежде призывали в свидетели Творца на Небесах, и жизнь свою на земле, что будут вечно принадлежать друг другу...

* * *

Той ночью, старый Ахмат, так и не сомкнул глаз со своей старухой; торкая ее локтём в бок, шепнул:

– Э-э, женщина! Глянь невзначай: вместе легли, нет?

– Бисмилах, бисмилах... Зачем тревожить? Вместе им постелила, разве не знаешь? Так ведь ... Мариам после родов...

– Не каркай, ворона! Иди, давай, посмотри. А я коня снаряжу Гобзало. Скоро подымать его буду.

Мать, выполняя наказ мужа, заковыляла в толстых носках из овечьей шерсти на женскую половину; сдерживая отдышку, допыхтела до места, глянула тайком сквозь дверную щель в опочивальню, залитую лунным светом, довольная вышла на двор.

– Да даст им Аллах, чего они ждут! Вместе...

– Ца, ца, ца, ца! Да продлиться их жизнь! Да умножаться их бараны! – оглаживая костистыми ладонями лицо, защёлкал языком старик.

Глава 3

Смеркалось. На западе накопились свинцовые тучи. Где-то далеко, в горном безбрежье, в полосе Кара Койсу вилась молния; сломанным крылом недобитой птицы трепыхалась рубиновая зарница. В той стороне тревожно светилось блёклое зарево, принакрытое обугленным руном сизой тучи. Горные долины, как бирюзовые чаши, до краёв налитые тишиной, таили в каменных складках и морщинах теснин призрачные отсветы дня. Хай, хай... Чем-то неизъяснимо тоскливым, беспокойно-унылым, – сей вечер напоминал осеннюю пору. И даже буйное разнотравье, лишившись прежнего аромата, казалось, излучало удушливый запах тлена.

... Спустя время, как и предполагалось, заморосил назойливый, мелкий, холодный дождь. Ай-е! Горцы промокли и издрогли на влажном ветру; их тёплые бурки и башлыки, бесследно пропали во время погони, вместе с хурджинами и другой поклажей, которую везли на себе выючные лошади.

... Оскальзываясь на размытой дождём тропе, часто ведя коней в поводу, они поднялись и спустились с Ассабского перевала. Впереди вот-вот должны были показаться дымы аулов Телетля.

Принюхиваясь, как волки, к многообразным невнятным ароматам намокшей травы, мюриды упрямо продвигались вперёд. Изредка останавливаясь, счищали с чавкающих водой, насквозь промокших чувяков, комья приставшей грязи. Выпрямлялись и снова тяжко, и устало несли свои измученные тела; скрипели, потемневшей от воды, седельной кожей.

* * *

Дождь перестал гвоздить землю, когда, шедший впереди Магомед, внезапно упределительно вскинул руку и быстро свернул с тропы под защиту скал.

– Что там? – прохрипел Месело.

– Казаки!

Оба сторожливо выглянули из-за гранитной скалы: на крутом взлобье кургана чёткие рисовались фигуры семерых верховых.

– Вон ещё! – Отрубленная Рука горячо шепнул Магомеду, нервно шевеля пальцами правой руки. – И ещё!..

По кургану замаячили конные. Казаки съезжались группами, разъезжались, исчезали за лобастым гребнем и вновь показывались. Нехлудовцы? Нет. Это были кубанцы, а те – терские казаки.

Одноглазый приказал трогаться в обход. Проехали стороной один из телетлинских аулов. Очевидно, по распоряжению вчерашнего наиба Шамиля Кебед-Мухамеда, тамошнее население, радостно, встретило русских.

Доселе одуряющая, висевшая тишина, была нарушена бойкими криками ездовых, надсадным рёвом сгуртованного скота; разгульными отголосками гармон и общим, всепоглощающим гудом переполненного людьми большого аула. С южной окраины слышались лопавшиеся выстрелы ружей. Повсему стреляли и резали скот для солдатских котлов, и Магомед заметил, как Месело, ехавший рядом, дрогнул, судорожно схватил рукоять револьвера.

Мюриды жадно всматривались в разводимые костры, принюхивались к манящим дымам; близкий и недоступный аул, тянул к себе неодолимо. Воллай лазун! Если б на то была воля Аллаха, они, не раздумывая, соскочили бы с опостылевших сёдел, и замертво упали на войлоки, не раздеваясь, под дремотное потрескивание костра так, чтобы согревающим теплом и жаром охватило их мокрую, вконец иззябшую плоть.

* * *

От котла – сажа, от злого – зло. Не солоно хлебавши, перевалили на другую сторону горы. Биллай лазун! Новый аул. На зависть ещё более богатый на дымы и сакли.

Та же картина. От голода и отчаянья у них подвело животы. Жители сего селения щедро и на славу привечали русских солдат. Слышались искромётные звуки лезгинки. Заполотно гремел барабан, тщетно пытаясь обойти в неистовой скачке – вечном споре, – крылатую зажигательную зурну.

– Смотри! Э-э, шакалы! Продажные псы... – Месело, едва сдерживая, охватившую его ярь, указал стволом штуцера.

Магомед стиснул до ломоты зубы. По освещённым, закатным солнцем, тесным улочкам, как муравьи сновали люди; прудили переулки армейские фуры, обозы, мельтешили конные.

Сын Исы, щуря мстительно глаз, беззвучно шептал проклятья; он хорошо различал даже знакомую, ненавистную окраску мундиров врага. Возле аула, на две версты с гаком, белели в четыре ряда парусиновые палатки Барабанных Шкур, вокруг них кишели солдаты, как трупные черви в туши буйвола.

...Оставив лошадей под скалой, они вскарабкались выше, где был шире обзор и тут!.. На фоне алого неба были чётко видны густые колонны пехоты, конных драгун, отряды грузино-осетинских дружин и сотни туземной конницы.

Хай, хай... Они видели и не хотели верить своим глазам... Все дороги огромной монументальной долины, что открывалась взору, были забиты войсками. Вай-уляй! Это был железный поток, который, сметая всё на своём пути извиваясь в теснинах, неумолимо двигался на Гуниб. Подобно несокрушимым легионам Древнего Рима, полки Белого Царя, пробирались к сердцу горного Дагестана. И под их железной пятой содрогалась земля, крошился камень и мелели полноводные реки. Суровые, рослые усачи, выдавшие виды, шли возле фургонов, тяжёлых горных орудий и арсенальных подвод. Рота за ротой, полк за полком, безудержно, как вешняя вода с гор

Колонны, начало и конец, которых терялись в свинцовом сумраке близкой ночи, на ходу перестраивались, удлинялись, свивались в плотные упругие жгуты, и, лязгая сталью, гремя окованными колёсами артиллерии и фургонов, текли на юго-восток. Мерно волновались, но без огней и факелов, без рубиновых угольков походных армейских трубок.

* * *

...Напряжение отчаянья болью пульсировало в груди Магомеда, в ушах громко стучало. Лицо дёргала судорога. Не в силах совладать с собой, он мазнул взглядом собрата, из горла вырвался возбуждённый клёкот:

– Это невозможно! Гьёб букИне рес гьечЮ! Йохъ...йохъ...И Пророк за свою голову молится. Будь осторожен, Имам Шамиль! Да продлит Аллах твою жизнь! Месело, это наша смерть.

Вместо ответа Отрубленная Рука, твёрдое лицо которого в эти мгновения, казалось, обвисло на скулах, судорожно пытался загибать пальцы, считая батальоны и пушки, но сбился, и нервно боднув локтём кунака, потрясённо вздохнул:

– О, Алла! Вай-ме...Сколько же их? Откуда?!

Оба молчали, зажатые в кулаке одного чувства. Оба прислушивались к учащённому бою своих сердец и мрачно сознавали: каждым из них владеет ныне совсем иное чувство при взгляде на этот железный поток, чем то, что они испытали накануне.

Так, с ружьями в руках, они надолго застыли на отвесной скале, как зачарованные, как отлитые из текучей бронзы, не в силах отвести взгляда от беспрестанно движущейся вражеской мощи, а ноги их ощущали дрожь тверди сквозь толстые из лошадиной кожи подметки чувяков.

– Уходим! – Одноглазый Маги крепко хлопнул по спине Месело и хищной тенью исчез среди валунов.

* * *

...По темноте, крадучись, вброд, переехали безымянную речку; вода подходила коням по брюхо; обезвоженные, те охотно шли в студёную воду и пили на ходу, взнузданные, зажа-

ленные плётками, понукаемые всадниками. У самого берега яма-промоина, и они с ходу бухнулись в воду, в её режущий холод, хруст, поднимая до колен, до паха, до груди, до пылающих скул тяжёлые хрустальные ворохи. Выскочили из гремящей воды, звериным движением плеч и загривков сбрасывая с себя каскады брызг.

Мюриды поозирались по сторонам, прислушиваясь к голосам берега, пожались в сёдлах, и как волки, хвост в хвост, след в след потянулись в сторону Кара Койсу.

...За монументальной долиной, дыбилось скалистое громадьё чёрных гор, за ними, за фиолетовой сизью иззубренного горизонта, багрово догорал дымный, распластавшийся в полнеба закат.

Горцы, держась козых троп, в объезд миновали долину, и крадливой рысью, приглушённо поскрипывая подушками сёдел, двинулись на юго-восток. Проехали Тануси, слева подслеповатыми огнями перемигивались аулы Цада, Геничутль. Впереди Хунзах и головокружительный спуск в Голотль. Смертельный риск и опасность, – но время не ждёт!

...Дорога змеилась по берегу реки Аварское Койсу. Справа – прибежище духов гор – всё время маячила Тли-меэр-Седло-гора, за гребнем которой воровски таилась промозглая ночь. Мюриды, кутаясь в сырое тряпье, временами, где было возможно, переходили на галоп. Глухо, но один бес, звучно, щёлкали о щебень неподкованные копыта горских коней.

Всадники молча, торопили измученных скакунов. На юг, на Ругуджу и далее на Гуниб, текла из-под конских копыт накатанная дорога; по бокам растрескавшиеся гранитные ладониперсты и лики древних, суровых скал, омытые недавним колючим дождём. Они – немые стражи тропы, – угрюмо взирали на горцев, погонявших коней... Кружился на западе в турьем распадке чинаровый лес. Мелькали обочь слюдяные надолбы и прорешины, в которых стояла чёрная, отражавшая звёздное небо дождевая вода, и сильные, точеные конские ноги, то и дело выбивали из них жемчужные брызги.

Хай, хай... Над забывшимся в тяжёлом и тревожном сне Дагестаном, наборным аварским поясом-чеканом лежал нарядно перепоясавший небо Млечный Путь, а много ниже, едва не касаясь кровавым серпом рта горных пиков, зловеще улыбался изогнутый полумесяц.

* * *

Беспощадно короток день, и ничтожна ночь, для воина, который наведалься в родное селение с пропитанных кровью долин...

Ему казалось, он только смежил глаза, вот только под веками стояла блаженная млечная пустота, и его самого как будто не было на земле.

...Её дыхание... Её нежные прикосновения вызывали в нём мерцания, радужными точками наполнявшие пустые глазницы. И это, похоже, тоже была жизнь... но другая, со стороны, словно с птичьего полёта. Он парил над горами, возвращался, но не на землю, а в иное, таинственное и прекрасное пространство. В нём было место: и Ураде, и родовой сакле, и матери согнутой пополам чёрнопудовой судьбой, и старику-отцу в истёртых папахе и бурке... Вот он! С родным забытым лицом сидит, опершись на глянцевитый пастушеский посох, смотрит в далекую вечернюю даль, и морщины его бронзовые от низкого спелого солнца. А вот перед глазами ослепительная, солнечная, в голубых снегах вершина, и он, гололобый волчонок, загорелый до черноты, смотрит из-под ладони на это величие белого безмолвия и сверкания, а рядом, у подножия кряжа, табун лошадей, щиплющий бархатными губами зелёный ресничный шёлк, народившейся травы...

Снова перед глазами образ Мариам с сынишкой Танка на руках. Он испытывал благодарность. Он не был с ней рядом в те ночи, когда её душили кошмары и страхи. Он шёл, то за кровью урусов, то мёрз в холодных пещерах в Аргунском ущелье, где вповалку спали мюриды, валялись мослы и кости баранов, и... трупы джигитов, умерших ночью от ран. На рассвете их хоронили и вновь отбивали атаки неверных, а она в это время молилась в мечети Всевышнему, и он был спасён её неслышной молитвой.

...Но вот, в пространстве грёз возникло мгновенное видение. Молодые горянки в долгополых архалуках танцевали на изумрудной траве, волновались их платки и чёрные косы. Сверкали монисты, глаза и улыбки. Где-то за поворотом тропы летела бешеная лезгинка; порывисто растягивались и сжимались меха гармонии. Молодые и старые урадинцы, в косматых папах, в воинственных костюмах предков по очереди врывались и входили в круг. Неистово гремел барабан, без усталости визжала зурна. В такт им хлопали мозолистые ладони.

– Асса!

– Иай, Урада! Танцуйте, радуйтесь люди!! – кричал глашатай. – У прославленного Гобзало сын родился! Да выпрямит его дорогу Аллах!

И люди, поднимая турий рог, радовались, что их, выкошенные войной ряды, пополнились ещё одним сыном Урады, защитником Гидатля! Мужчиной, будущим воином, ещё одним булатным кинжалом.

– Цар бугеб, Цар батаги!

– А имя ему пусть принесёт ему слава!

Хай, хай...Имя без дела и впрямь пустой звук. Мать учила Гобзало: «Нет награды больше, сынок, чем имя, нет сокровища дороже жизни. Береги это».

Отец не уставал повторять Гобзало: «Всегда помни, ты – мужчина. Будь им, и знай: мужество не спрашивает, высока ли скала».

...И вот он снова видит отца.

– Вах! Смотрите! – кричал молодым крепкоплечий чабан со шрамом на брови и щеке. – Достойный Ахмат, отец Гобзало! Ай, молодец! Джигит! Давай! Дава-ай! Закрути усы молодым!

И отец, зная толк в танцах, скинул бурку, бодро вошёл в круг и поплыл – полетел, как гриф – стервятник, распластав старые, но ещё мощные руки – крылья!

...Разомлевшая, спящая Мариам мирно дышала ему в чуткое ухо, и он продолжал парить над горными перевалами, и тёплые струи воздуха шевелили его орлиные перья. Вдруг, он вновь шёл по Огненной тропе... Нёс её на руках, вверх по уступам, прочь от горящих аулов. Там, внизу, взрывались армейские фуры с боеприпасами. Солдаты оглоблями и баграми сталкивали в пропасть пылающий транспорт. Фургон рушился, теряя горящие колёса и оси, цепляясь за скалы, оставляя на них ключья огня, парусины, дерева и железа. А он возносил её и детей к вершине, к спасительному гнезду, все выше и выше, с колотящимся молотом сердцем, по узкой звериной тропе, туда, куда не достанут штыки и пули, идущего по пятам врага...И последняя мысль – они вне опасности, вся его дорогая семья, и теперь они неразлучны...

Хай, хай...Беспощадно короток день и ничтожна ночь. Для воина, который наведалься в родное селение...

* * *

– Гобзало! Поднимайся! Тебе пора...

Он мгновенно проснулся, услышав голос отца, и ...увидел в светящемся жемчужном сумраке, её, босую, в белой ночной рубахе. Она стояла на коленях, прижав лоб к земле, совершая намаз. Он не видел её лица, а только белый покров и босые стопы на чёрно-зелёном молитвенном коврике.

– Гобзало! – испуганно воскликнула она.

Он, обвешанный оружием, уже взялся за дверной засов.

Воллай лазун! Столько страсти и отчаянья было в её зове, что Гобзало вздрогнул и медленно обернулся. Оба молчали.

– Не прерывай намаз, жена!

– Он завершён. Я молилась за нас, чтобы Всевышний осенил тебя своей благодатью и отвёл беду от нашей семьи. – Мариам низко опустила голову, горячо прошептала:

– Позволь мне одеться...и проводить тебя.

Она, прикусив губу, тяжело поднялась, взяла с сундука архалук, сделала пару шагов, и... он вовремя подхватил её, уложил на подушки.

– Всё хорошо, любимый. Я просто резко встала. Разреши мне...

– Нет! – Он был по-обыкновенно суров. Его лицо стало жестким, как изрубленный шрамами кулак. – Тебе надо набраться сил. Накорми Танка. Заботься о себе и детях.

– Гобзало...

Он резко повернулся к ней всей грудью.

– Хо! Я всё сказал.

– Гобзало! Видит Бог, как я люблю и жалею тебя за твои страдания. Я всегда буду ждать тебя вместе с детьми. Муж мой! Ты прав, у женщин – слёзы, у мужчин – пули. Ты воин. Так возьми свой свинец и выплачи его весь до конца в наших врагов. И уж если тебе так надо погибнуть в бою... умри воином. Обещаю, я воспитаю Танка, как должно. Он будет гордиться своим отцом.

– Мариам! – Гобзало порывисто и горячо обнял её. Сдавлив нежные плечи своими твёрдыми цепкими руками, покрытыми застарелыми рубцами, царапинами и ожогами. – Я вернусь! Клянусь тебе. Волла-ги! Я люблю вас больше жизни. Теперь прощай. Меня ждёт тропа.

* * *

Как только Гобзало ушёл, Мариам поднялась, высунула голову в приоткрытое окно и стала пристально глядеть вслед удалявшемуся мужу. Хай, хай... Она стояла, как обречённая; последняя надежда уходила от неё. Её побелевшие губы были плотно сжаты, словно сдерживали рвавшийся из груди вопль. Скорбные глаза впились в удалявшегося от неё единственного на свете и самого дорогого человека; и с каждым шагом уходившего Гобзало, она приподнимала голову всё выше и выше, словно её кто-то тянул верёвкой за шею. Одной рукой Мариам схватилась за сердце с такой силой, что расцарапала себе ногтями грудь: она как будто хотела умерить его удары, не дать ему выскочить из своего гнезда.

Но в это время о себе требовательно напомнил Танка. Маленький «джигит» не спал, он тоже, похоже, провожал отца, – его смуглое личико сморщилось и покраснело от натуги, но плач напоминал скорее икоту или кряхтенье, что вызывало невольную улыбку.

Материнское сердце Мариам ёкнуло и омылось тёплой волной, лишь только она ощутила у себя на руках беспомощное, нежное, что атлас, тельце. Несколько раз, вздохнув родной, тёплым и мирным запахом младенческой кожи, соль умилительных слёз обожгла ей глаза. Она распахнула рубаху, дала ребёнку грудь и... по-женски сменила одни свои треволнения на другие.

Глава 4

На небосклоне горело пламя зари, поджигало леса и горы, облака и долины, дороги, на которых гроыхали кибитки, скрипели арбы, мычали волы и коровы, когда мюршид Гобзало быстрой бесшумной тенью прошёл вдоль двора.

...У дороги, с осёдланным конём в поводу его поджидал отец, но не один. Рядом, в папах и бурках стояло несколько стариков, из тех, кои были на годекане.

В те времена суждение народа, общины, ещё крепко сохраняло свою древнюю силу. Тухум, тейп или тэми, был единой семьёй, и беда любого из его членов считалась общей бедой. Джамаат защищал своих одноаульцев, заботился о них. Тем же платил джамаату каждый из них. Жизнь вне общины – племени, в стороне была невозможной. Воллай лазун! Каждый чувствовал себя под защитой – крылом и клювом – своей общины. Оскорбление человека принималось как оскорбление рода, и это придавало каждому чувство гордости, внушало силу и непреклонность.

...Старейшие собрались в этот ранний час, озабоченные не только решением Гобзало ехать в Гуниб, не только тем, что единая их семья может потерять одного из самых сильных членов тухума, а тем, что пример одного мог пагубно отразиться и на других, мог расшатать, ослабить общину. Не посягая ни на чью собственность, джамаат считал своим долгом всеми мерами воздействовать на сознание своего члена, предостеречь, но главное, доказать ему всю неосновательность принятого им решения.

Когда Гобзало подошёл, многие встали, приветствуя его.

– Садитесь, садитесь, почтенные, я не заслужил такой чести! – Гобзало приложил руку к груди и поклонился собравшимся.

– Напрасно ты так... Ты из хорошей семьи, славного рода, – ответил один из аксакалов. Наступила тишина.

– Говори, Хамид, пора! – обратились урадинцы к седобородому старцу с посохом.

Тот кашлянул в коричневый кулак, провёл рукой по усам.

– Подойди сюда! – обратился он к Гобзало, стоявшему поодаль от остальных.

Он приблизился к старикам и почтительно остановился. Обычно, Гобзало держал себя с каждым из них в отдельности, как свободный уздень, – как равный с равным, и если кому-то из них оказывал особый почёт, то честь сия воздавалась возрасту, прежним заслугам и седине. Но совсем иначе было теперь. Мюршид, Гобзало стоял перед собранием старейшин – хранителей чести тухума Урады, блюстителями вековых обычаев народа, и покорно склонял голову перед его гордым величием. Тех, Кто, Познал Жизнь, было много меньше, чем прошлым днём на годекане, но это равным счётом ничего не меняло.

– Значит, ты всё же покидаешь Ураду, Гобзало? – спросил Хамид. Голос его прозвучал в прозрачном, ломком воздухе, как скрип расщепленного дуба. – Верно ли это?

– Верно. – Тихо, но твёрдо прозвучал ответ.

– Значит, хочешь разрушить свой очаг? Забросить родник? Оставить сына и дочерей на жену... Хозяйство на своих стариков? У тебя больше трёхсот голов в овечьем стаде. Есть и буйволы, и быки, и лошади. Это большие заботы и хлопоты.

Снова сгустилась гнетущая тишина. Слышно стало, как под обрывом журчит по окатыстым валунам и гальке бурливая речка.

– Гобзало, брат наш... – продолжил Хамид, – джамаат нашего сообщества хорошо знает тебя и ценит. Волла-ги! Ты от плоти и крови нашей. Ты всегда был верной опорой Урады и Гидатля, другом своих соседей, всегда был первым среди лучших и в труде и в борьбе, добрым хозяином, храбрым защитником своего народа от врагов...

Голос аксакала задрожал, он осёкся, чтобы перевести дыхание.

Гобзало воспользовался этим:

– Люди!... Не заслужил я такой чести, чтобы дважды тратить на меня ваши слова и время. Пусть жизнь моя ляжет жертвой во имя Аллаха на ваш алтарь!.. Уо! Вы сами были всегда опорой и надеждой моей!..

– Постой! – властно прервал его Хамид. – Воистину, джамаат всегда помогает своим. Воистину. Человеку нельзя жить вдали от общины. Хо! Что может сделать человек, если останется один? Он будет несчастен и жалок, как сорванный ветром листок. Урада считает тебя сыном своим и хочет предостеречь от гибели. Вай!.. Тяжела для селения будет потеря...

Гобзало побледнел, потом отчаянье залило его лицо тёмной краской. Билла-ги! Как ему быть? Он всё уже прежде сказал джамаату, и не в его чести было лгать или оправдываться. Но старейшины упрямо ждали ответа.

– Уважаемые! – он прервал, наконец, тягостное молчание. – Я всё сказал вам. Не принуждайте меня ловчить. Лучше побейте камнями.

– Останься, Гобзало!

– Останься! Не покидай Ураду! – послышалось кругом.

– Тише! – сурово сказал Хамид, потрясая посохом. – Продолжай! – обратился он к Гобзало.

– Тухум зовёт меня братом, я в долгу перед ним... Вы знаете: больше сотни голов в моей отаре. Есть быки и лошади. Если мне суждено погибнуть в Гунибе... – он по-очереди ответил на каждый взгляд, – то хочу разделить всё это поровну на две части. Половину оставить за моей семьёй, а половину передать общине для тех, кто в нужде.

– Гобзало! – поднял голос один из старейших. – Твоя щедрость нам известна. Ты не раз одаривал нуждавшихся в Ураде, пригоняя баранту из набегов. Добро же твоё нажито твоим трудом, острой шашкой и храбростью. И пусть оно останется у тебя. Но ты – брат наш, и мы, последний раз просим, не принуждаем тебя, остаться с нами, не уходить!

Много ещё сильных и мудрых слов было сказано аксакалами, но твёрда, как кремь, была клятва мюршида Гобзало, данная Шамилю, и незыблем, хоть и труден, и смертельно опасен, был его долг перед ним.

Талла-ги! Народ в лице старейшин решил отпустить и благословить Гобзало. Все поняли: только крайняя необходимость, священная убеждённость могли побудить этого человека, в день рождения сына, – покинуть родное ущелье. Уо! Гобзало мужчина. Воин. Мюршид. Он знал, что хотел.

Почтенные старцы, выполнив свою миссию, застучали посохами о камень. Отец и сын остались одни.

– Гобзало! – сказал Ахмат, напутствуя его на прощанье. – Хужа Алла... Ты не хочешь остаться, и сердца наши с матерью стонут, разлучаясь с тобой. Но знай, Гобзало! – голос отца задрожал, как перетянутая струна пандура. – Я горжусь тобой и твоим выбором! Правильно! Будь верным своему слову. Добрый путь тебе, и да поможет Аллах вам, – защитникам Гуниба и Шамиля! Но помни всегда родные горы, сын, своё ущелье, аул, братьев своих, могилы предков! Не забывай никогда наших гидатлинских святых и адатов! Воллай лазун! Если Небо будет благосклонно к тебе... Ты в любой день волен вернуться сюда. Помни материнское молоко, вскормившее тебя, помни о детях и жене. Помни Танка! И знай, что сердце наше обливается кровью, расставаясь с тобой. Ай-е! Взгляни на эти горы, сынок! Здесь жили твои предки, горы эти были свидетелями их радостей и печалей! Запомни наших орлов... Не забывай ни о чём, ибо всё это твоё!..

Неожиданно лицо отца жалко сморщилось, и глаза сразу застеклили слёзы. Сквозь их искрящуюся грань Гобзало близко увидел побледневшее лицо отца с такими же, как у него глазами. И вдруг, точно срубленный саблей, хромой старик, упал головой на плечо сыну. Был он когда-то выше Гобзало, а теперь усох, заостренел, стал ниже, и давно небритая, сухая голова

седым колючим репьем лежала на высоком плече сына и мелко тряслась, каждой складкой, каждой морщиной... Но вот, в голосе его вновь зазвучала прежняя медь, а красные от слёз глаза строго сверкнули:

– Помни: мужество не спрашивает, высока ли скала? Доблестная смерть для воина – храбреца лучше позорной жизни. А теперь скачи в Гуниб к Шамилю, только помни крепко мои слова... помни из какого ты рода... и будь достойным своих гор!

Больше они не проронили ни слова. Одним махом, с места, хищным длинным броском Гобзало взлетел на спину Чора. Одним стремительным, мощным порывом сорвал жеребца в галоп, подняв за собой шлейф белой пыли.

Уже на подъёме, перед спуском к мосту, он осадил коня, повсему предчувствуя что-то неладное. Обернулся и помахал рукой. Отец, оперевшись на посох, продолжал стоять, покуда сын окончательно не скрылся из виду.

Хай, хай... Знал ли Гобзало тогда, что больше уже никогда не увидит ни его, ни свою любимую мать. Они уйдут из жизни один за другим, с разницей в пять дней, после чёрного известия из Гуниба, что их сын Гобзало погиб в неравной схватке с урусами.

Да-дай-ии! Пристрастные родительские глаза, как и сердца, – слепы. Бедность злее огня, а поганый язык опаснее пули. Чёрный слух о гибели Гобзало, пущенный кем-то... без кинжала и яда убил стариков, так и не сумевших пережить сего слуха. А между тем, слух о пороке, как и о смерти, хуже, чем сам порок или смерть. В горах Дагестана говорят: «Что видел – правда, что слышал – ложь. У лжи одна нога огневая, другая из воска».

Всё так... Да только человек мечтает, а судьба смеётся.

* * *

Солнце над ущельем поднялось на ладонь, когда Гобзало, миновал пограничный мост и погнал коня по знакомой тропе. Впереди, внизу шумела быстрая вода. Сзади ещё были слышны залиvistые отголоски перекликавшихся петухов в ауле. У Гобзало был негласный принцип: «Думать о худшем, а надеяться на лучшее». Этой привычке он следовал и теперь, – ехал уверенно и не гадал о будущем. Но когда достиг тех мест, где паслась общинная отара, и узрел раскинувшееся по родным склонам стадо, тоска железными перстами сжала сердце. Только теперь почувствовал он, как трудно будет ему расстаться, и возможно, навсегда, с землей, где протекало его детство, вся жизнь, где вкушал он и горе, и радость, где научился чувствовать и думать. Звонящий шум родных ручьёв ласкал и убаюкивал слух Гобзало. Ему чудилось, что огромные, голые и бесплодные скалы таят в себе необъятные силы, и даже блеяние овец звучало для него, как песня.

Всё вокруг: от горделиво-лазурного высокого неба и величавых оскаленных гор до самого мелкого щебня, – решительно всё здесь было безмерно дорого Гобзало, и расставание стоило ему полжизни. Но таково уж было предначертание судьбы воина. Из века в век, как хищные стаи волков, отряды горцев скитались по ущельям, каньонам, долинам и перевалам в поисках славы, добычи, любви и удачи. Из века в век за их быстроногими скакунами вилась бурая пыль и чёрное воронье. Воллай лазун! Так издревле был устроен их мир. Волк меняет шерсть, но не натуру. «В горах тесно, зато в сердце широко. Мир-курдюк, в середине – нож: режь и ешь, – говорят горцы и, не покидая села, шутят: – Курица соседа, кажется гусём, а баран за горой – буйволом!»

Что же до Гобзало, то ещё больше наживы, войны и набегов, он любил Мариам и своих детей, и ради того, чтобы быть с ними, сохранить очаг своей сакли, он готов был, не задумываясь, отдать свою жизнь.

Биллай лазун! Многих, очень многих прекрасных, сокровенных чувств лишился он, вновь расставаясь со всем тем, что любил и ценил с детства, с чем прожил всю жизнь. Но любовь к семье, к Ураде, к Дагестану, верность Имаму Шамилю – требовали, чтобы он отка-

зался от всего, и гнал своего коня навстречу судьбе. Уо! Его поединок с судьбой продолжался и он, – обязан был его выдержать с честью.

* * *

Впереди показалась дубовая роща. Тропа, уползавшая серой гюрзой в дымчатый полумрак; на резной листве – утренние золотые розбрызги света, переливчатый щебет птиц, изумрудные своды аркад и тусклая латунь узловатых ветвей...

Конь, как будто сам, зная, что ему делать, бодрым скоком свернул с обочины на пустынную тропу. Гобзало с неизъяснимой тревогой подумал о своём летучем отряде, оставленном у подножия Килатля; об Одноглазом Магомедом подумал, об Али, о мрачном великане Гуле подумал... Когда среди лесных придыханий и шёпотов, переключек птиц, – послышался нарастающий лошадиный топот, обрывки голосов и приглушенный звяк стремян и уздечек.

Гобзало на мгновенье сузил свои чёрные глаза, обрамлённые усталыми морщинами. Хищный фиолетовый отсвет вспыхнул в зрачках. Позади, меж стволов промелькнули две тени, потом ещё пять или семь, прильнувшие к гривам летевших коней.

Вместо того, чтобы укрыться в зелёном подлеске и переждать, Гобзало быстрым привычным движением выхватил из медвежьего чехла карабин, и поворотив коня, направил того прямо на своих преследователей.

Волла-ги! Теперь он видел их хорошо, – чёртова дюжина, всё при оружии, быстрые, словно ветер. То, что это были свои – гидатлинцы, у мюршида сомнений не было. Покрой одежды, папахи, сбруи коней, амуниция – говорили сами за себя, как шкура и окрас зверя. Дело в другом! Друзья или враги?

Уо! Гобзало прекрасно знал, что после предательства наибова, он как голубь в когтях ястреба, рисковал жизнью... Кебед-Мухаммад из Телетля, другие вожди и наибы, перешедшие на сторону русских объявили всем жителям Дагестана, под угрозой жестокой казни, не принимать и не потворствовать приспешникам Шамиля. Знал Гобзало и другое: жители селений, взявшие сторону изменников, могли в любую минуту потребовать его выдачи или даже убить. Хо! Покуда он находился под защитой своего джамаата, враги не могли открыто напасть на него, но теперь, в горах... один Создатель знал, что его ждёт...

* * *

Грозно предупредила о себе винтовка мюршида. Умышленно посланный чуть выше голов свинец, злобно визжа, оббивая листья и сучья, вгрызся в ребристый ствол векового дуба, осыпав колючим крошевом всадников.

...Мчавшиеся сзади наскочили на передовых, смешали ряды, закружились на узкой тропе. Хотели было подъехать ближе, но громкий голос Гобзало заставил их осадить коней.

– Стойте! Чего надо? – крикнул с седла Гобзало. Отсвет лимонных лучей, сквозь листву, упал на воронёное дуло. Одноглазая винтовка смотрела тёмным оком, определённо угрожая, перемещаясь с одного наездника на другого. – Что? Взять вздумали? Ну, бери, кто смел!

– Ассалам алейкум, брат! Зачем стрелял?!

– Э-э! Мы с миром!.. Тебе в помощь пришли! Опустить ствол от греха...

– Почём мне знать, что у вас на уме? Ну!

– Небом клянусь, брат! Ва-а! Без злого умысла мы...

Грозно взирая на джигитов огненными глазами, продолжая цепко держать их на прицеле, Гобзало бросил:

– Мне не по вкусу ваши клятвы! Собачий хвост им цена... Хо! Если вы волки, а не шакалы... Бросайте оружие на землю. Всем спешиться! Или клянусь Кораном, дальше с вами заговорит мой карабин.

Всадники, все как один, беспрекословно выполнили приказ. И только тогда мюршид Гобзало поверил им, сунул карабин в чехол, сменил гнев на милость.

Билла-ги! Перед ним и вправду стояли тринадцать прекрасных молодых джигитов Гидатля. Да таких статных и стройных, что даже врагов ослепила бы их мужественная красота.

– Э-э, да я вижу среди вас урадинцев, соседей моих, братьев Чееровых. Это ты, Магомед? А рядом твой младший брат Алиасхаб?

– Да, уважаемый. – Они с почтением склонили головы.

Чувствуя полное доверие к юношам, Гобзало сам легко соскочил с коня. Подошёл к Чееровым в своём пыльном дорожном платье, вооруженный с головы до ног. Нет, он не был молод, как они, но был хорош своей особой воинской статью, соколиной стремительностью и львиной осанкой. Храбрость его была примером для мужчин, а тополиная стройность и суровая красота – предметом воздыханий для женщин.

– Но зачем вы здесь? – Гобзало пытливо всмотрелся в их лица.

Оба урадинца с блестящими глазами, в которых тлел непримиримый огонь мести, жадно и преданно смотрели на него. – Что молчите? Ваш отец громче других рвал глотку на годекане, что не пустит своих сыновей в Гуниб.

– У нас свои языки...

– Свои папахи на головах!

– Так вот и цените больше не папахи, а что под ними, – усмехнулся мюршид и дружески потрепал крепкое плечо Алиасхаба, которое радостно дрогнуло под его пальцами и налилось чугуном силы.

Гобзало, хмуря брови, прошёлся вдоль примолкшего ряда воинов, придерживая рукоять своей шашки-гурды.

– Что ж, все вы волки? И здесь, чтобы рвать глотки русским собакам? Это хорошо! Воллай лазун! Злая, неумолимая сила пришла на Кавказ. Биллай лазун! Опаснее, чем полчища кровожадного Надир-шаха и гибельнее злобных орд Хромононого Тамерлана! Урусы – вот это зло! Великий Имам встал грудью на пути сего зла. Но его предали подлые и продажные псы! Яд тарантулов течёт в их презренных жилах. Их поганые языки о Шамиле говорят только хулу. Но если их козни погубят Имама... – Гобзало захлёстывало горячее бешенство, заливало глаза алой тьмой.

– Вы все!.. Весь Кавказ поймёт позже, как нам будет его не хватать! Как осиротеют наши благословенные горы. Но беда в том, что народы Кавказа поймут все это убийственно поздно, когда великого Шамиля не станет...

Гобзало, оборвав речь, каким-то безумным, пугающим взором, окинул седые пики гор, склоны, изрубцованные складками и глубокими надрубками расщелин, плывущее над ними золотисто-белое гривё облаков, и снова впиваясь в медные лица, опустошенно сказал:

– Да-а. Останутся эти горы и небо, также будут греметь и пениться водопады, под облаками будут парить орлы, но всё уже будет не так... Совсем не так! Не будет нашего пророка Шамиля, который положил на алтарь Кавказа всю свою жизнь, во имя Всевышнего и свободы всех нас! А ведь именно за это и надо драться, братья, только за это и стоит умереть!

– Аллах Акбар! – взорвалась иступлёнными криками роща.

– Аллах Акбар! Веди нас, учитель, резать русских свиней! Выручим Шамиля!

– Мы не только встретим огнём и сталью врага! Волла-ги! Мы обрушим Небо на их нечестивые головы!

Белая узкая улыбка, как крыло каспийской чайки, озарило бронзовый лик мюршида, когда он увидел на молодых лицах влажный хищный оскал. Джигиты жадно внимали ему, ожидая приказа, и мюршиду подумалось в тот момент, что нет на Кавказе силы, коя могла бы удержать сей смерч ярости, решимости и отваги. Первый же отряд гяуров почувствует, как остры их кинжалы и шашки... Всякого, кто попытается штурмовать Гуниб-крепость, примет в объятия холод могилы. Талла-ги! Об этом говорили горящие, непримиримые взоры. А сыны Гидатля привыкли выполнять обещания и клятвы.

Нет, на их лицах – горского чекана, не было и тени сомнения, – одно нетерпеливое ожидание. Что прикажет им вождь. Пошлёт немедленно в бой или сам поведёт их на выручку Шамиля по тайным тропам, известным только ему.

Гобзало испытал при этом согревающее сердце тепло, от преданных гидатлинских глаз. Но уже в следующий миг, одержимый радостью взор его потемнел, как свинец. Строго и осуждающе посмотрел он на собравшихся воинов.

– Братья! – хрипло воскликнул он. – Каждый из вас клянётся в верности мне и нашему Иمامу. Баркала. Клянусь Аллахом, нет лучших слов для моих ушей. Клянусь кровью своей! Я бы с радостью взял вас с собой... – Он, с внутренней саднящей болью, поймал на себе жгучий нетерпеливый взгляд боевого отряда, выдержал паузу, и точно шашкой резко отсек. – Но все вы, – до единого отправитесь назад!

Джигиты остановились и замерли.

Все знали о важном даровании Гобзало – умении держать паузу и самому держаться с огромным достоинством. Но нынешняя немота, а затем жестокая правда, были подобны обвалу в горах.

– Уо!

– Гобзало! Что с тобой?! – взвились горячие голоса.

– Не-ет! Я не пойду наперекор джамаату. Как решил народ Гидатля, так и будет! Вам ли не знать? Слово джамаата сильнее, чем шашка героя. Адат суров!

– Ай-е! – вновь взорвались клокочущие крики.

– Во имя Аллаха!..

– Нет, я сказал! У меня мысль и слово – одно! – Гобзало вспыхнул, как порох. Вах! Какая грозная, неукротимая воля звучала в нём.

Джигиты суеверно переглянулись и тут же прикипели взорами к мюршиду, не в силах поверить... Волла-ги! Всё в их кумире было прежним: чёрные, как гранат, глаза, резкие черты орлиного лица с высеченными, будто из камня, скулами, повадки дикого зверя, молчаливого, сильного, а потому непредсказуемого и опасного, и вдруг...

Не обращая внимания на глухой ропот голосов, Гобзало решительно подошёл к своему жеребцу, поймал носком чувяка узкое стремя, и беззвучно, мгновенно перекинув тело, слился с седлом.

– Аллах да воздаст вам, братья! – бросил он, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя. – Билла-ги! Кто ослушается, того уложит моя пуля! Вы нужны Гидатлю! Хо, я все сказал. Иншалла.

Словно поражённые громом стояли храбрецы – джигиты, заморожено глядя на уносившегося прочь всадника. Никто из них, озлобленных и взбешённых, не посмел нарушить грозного наказа прославленного мюршида.

Подавленные, в мрачном молчании, они вскакивали на своих коней. И, подобно хищной стае, потерявшей своего признанного вожака, угрюмо потянулись волчьей цепью к родным дымам.

Глава 5

Гуниб – гранитная твердыня, заоблачное орлиное гнездо горного Дагестана.

Воллай лазун! Гунибское плато, как последний рубеж Имамата в битве с урусами, Имам Шамиль имел давно и берёг его в сердце, как чёрный алмаз, как волшебный кристалл, – способный выволить его из железных когтей судьбы.

«Ещё восемнадцать лет назад – 16 ноября 1841 года генерал Клюки фон Клюгенау в письме генералу Головину Е.А. сообщал: «Ваше высокопревосходительство...Гунибцы, известные бестии, охотно приняли предложение коварного неприятеля. Они согласились дозволить мюридам укрепить свой аул, обеспечить его предостаточным запасом зерна, транспорты которого уже начали прибывать на сию вершину...»³

В том же 1841 году воины Аллаха, по приказу набов Шамиля, производили на Гунибском плато серьёзные укрепительные работы, завезли туда весьма изрядный запас продовольствия и оружия.

А вот, что спустя годы писал командующий князь Барятинский А.И. в докладе на имя Его Величества Государя-Императора Александра II перед штурмом Гуниба: «...Не ограничиваясь природной крепостью Гуниба, прозорливый Шамиль употребил решительно все возможные средства – сделать его совершенно неприступным; он подорвал все скалы порохом, куда представлялась хоть какая-то малейшая возможность добраться; он заградил все тропы, ведущие на Гуниб от Кара-Койсу, Ругуджи и Хиндаха толстыми стенами, боевыми башнями, двух и трёхъярусными оборонительными постройками, везде заготовил огромные кучи камней для скатывания на атакующих».⁴

Хай, хай...К тому сроку⁵, на горе Гунибе хоронился невеликий аул шесть-семь сотен жителей; несколько хуторов, две мельницы, мечеть, оружейная мастерская, да пороховая готвальня.

По воле Творца неприступный Гуниб-Даг расправил свои крутые плечи в самом центре древнего Дагестана, а потому. Как не раз в том убеждались завоеватели, имел уникальное стратегическое значение. Эта циклопических размеров цитадель, сложенная из гранита, базальта и туфа, имела вид обезглавленной пирамиды, коя, была отгорожена от всего мира отвесными и глубочайшими безднами с седла плато на десятки и сотни вёрст, как на ладони, просматривалась большая часть горной страны. Отсюда без труда можно было контролировать положительно все пути, ведущие к нему. С трёх сторон его защищали глубокие каньоны двух полноводных, бурливых рек: Кара Койсу и Аварское Койсу.

Биллай лазун! Это была естественная крепость площадью более ста вёрст с юга на север и с запада на восток, защищённая со всех сторон двумя ярусами гигантских базальтовых глыб, которые, как гласит одна из древних легенд, были принесены сюда исполинами дэвами, не то крылатыми демонами по воле Создателя, ещё миллионы лет назад.

Аллага шекур...Когда младший сын Имама Магомед-Шапи взялся укреплять и готовить гору к обороне, из-за нехватки людей и средств были проведены только простейшие укрепительные работы на самых важных и судьбоносных рубежах. Даже для того, чтобы передать то или иное распоряжение, не хватало людей! Посты, расположенные на самых опасных участках не имели связи между собой.

³ ДГСВК с. 309.

⁴ РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6609. Л. 22-23.

⁵ т.е. 1859 год.

Что ж, верно сказано: у победителя – день, у побеждённого – ночь. Как верно и то: побеждённый ненасытен в борьбе. А мужество и стойкость воина узнаются, когда наступает срок испытаний.

* * *

Хай, хай... Мало, крайне мало было защитников Гуниба... Но и маленьким ключом можно открыть большой, окованный железом сундук. В те времена у Шамиля как-то спросили:

– Скажи, Имам, как могло случиться, что крохотный полуголодный Дагестан веками был способен сопротивляться могущественным государствам и устоять против них? Как мог он полвека биться со всемогущим Белым Царём?

В безмерно уставших глазах Имама, казалось, отразился раскалённый перламутр былых и грядущих пожаров. В медных пальцах неспешно щёлкнуло яшмовое зерно чётко, подведя черту затянувшейся паузе. После чего, Шамиль тихо, но твёрдо изрёк, убеждая собравшихся воинов и мудрецов, в своей выстраданной мысли:

– Дагестан никогда бы не выдержал такой борьбы, если бы в груди его не горело пламя любви и ненависти. Этот огонь и творил чудеса и совершал подвиги. Сей огонь и есть душа Дагестана, то есть сам Дагестан, – его плоть и кровь.

Я сам кто такой? – с усмешкой продолжал великий Шамиль, снова щёлкая каменным зерном, – Сын садовника Доного из обычного горского аула Гимры. Уо! Я не выше ростом и не шире в плечах, чем другие люди. В детстве был хилым и слабым волчонком. Глядя на меня, взрослые качали головами и говорили родителям, что долго не протяну. Сначала я носил имя Али. Но когда я хворал, это имя заменили Шамилем, надеясь, что вместе со старым именем уйдёт моя болезнь, а вместе с нею и злые, нечистые духи, что кружились над моей колыбелью. Шамиль – странное и чужое, для наших мест, имя... Но я выжил и рос с ним... Я не видел большого мира. Не воспитывался в больших городах. Я не был обладателем большого добра и богатства. Учился я в медресе в своём ауле... Но всегда помнил из какого я рода. Приёмы – ничто, воля – всё. Сила воли, которая и есть наш горский дух – наш огонь. Воллай лазун! Однажды он просыпается в каждом. Проснулся и во мне... Давно это было, но я не забываю, да и не хочу забывать. В ту минуту я и стал Шамилем, которого знаете вы... Главное сберечь этот огонь... Не дать угаснуть ему.

* * *

И всё же, какой бы ни был огонь в груди, ..но одна ладонь шуму не сделает. Трудно, невыносимо трудно было Имаму и его соратникам. Искренне глубоко ужасались за их судьбу те, кто по злой воле изменников остался глух к призывам Пророка. Те, кто променял честь и имя, на кусок баранины и хинкал. Саблю на ложку, а коня на осла.

Волла-ги! Положение усугублялось ещё и тем, что теперь Шамиль не получал сведений о состоянии дел в других районах Дагестана, не имел достаточного запаса провианта и боеприпасов. Посередине плато, в большой ложбине, где протекала речка, располагался сам аул Гуниб.

Под руководством сына Имама Магомеда-Шапи на крутые вершины скальных уступов мюриды и гунибцы натаскали целые груды огромных камней и валунов. А крепкий камень, брошенный с высоты, словно пушечное ядро, ударившись о скалы, разлеталось на сотни жужжащих кусков, причиняя убойный урон противнику.

Билла-ги! На Гуниб вели несколько пешеходных троп – из Хидаха, Ругуджи и от реки Кара-Койсу. По приказу Имама все они были разрушены. Каменные завалы, стены, башни и бойницы встали на проходах. Повелитель правоверных считал природную крепость совершенно неприступной.

...Вот и теперь, обходя с сыновьями укрепленные рубежи, он силился убедить себя в своей недосыгаемости, достаточно сильным, чтобы дать отпор любому врагу. Но на душе продолжали скрести кошки, а на память приходила старая даргинская поговорка: «Козёл девять раз проскочил в Мекку, а на десятый раз угодил к волку в пасть».

Угрюмый, задумчивый, перетянутый кожаным поясом, на котором висели кинжал и изогнутая сабля в чёрных серебряных ножнах, Шамиль стоял на третьем этаже боевой башни. Старая папаха с простой белой чалмой, потёртая на швах черкеска с густыми и длинными рядами газырей, неподвижное тёмное, как седельная кожа, лицо, с густой крепко седеющей бородой и полузакрытые глаза – хо! – как это всё было необычно и непохоже на яркую пышность затканых золотом и сверкавших драгоценными камнями других повелителей и владык Востока.

Окружённый телохранителями – муртазеками, Шамиль спустился по ступеням, покинул башню. Старики – советники в гранатовых и зелёных чалмах теснились у входа перед ним и расширенными глазами всматривались в неподвижное суровое лицо Имама, ожидая, от ещё недавно всесильного, страшного истребителя гяуров и непокорных народов Кавказа, или милости, или великого гнева.

Шамиль поднял палец и направил его на одного из них:

– Ты носишь большую чалму, мудрец. Много дорогой ткани ушло на неё, не так ли? Должно быть, и мозгов под этой чалмой меньше? Скажи мне, мудрец, дважды совершивший хадж в священную Мекку, что через два или три солнца ждёт нас всех? Жизнь или смерть? Победа или поражение?

У башни взялась тишина. Жители Гуниба, оказавшиеся поблизости, взобрались на плоские крыши, со страхом и любопытством наблюдали за происходившим. Казалось, полная тишина охватила гунибское плато. Одни только рослые кавказские овчары с косматой шерстью и злобными глазами перекликались хрипатым, яростным лаем, словно чуяли близкую кровь.

– Ну, что же ты, Хаджияв из Караха? Тебе нечего бояться. Тебя нет в моём списке...

– Будь я в твоём списке, Повелитель, – старец в зелёной чалме, приложил руку к груди. – И будь это на благо Священного Имамата, клянусь, я бы с радостью умер.

– Да, да... верю тебе. – Шамиль, прищурился. Смерил взглядом высокого и прямого, как минарет мечети, старика, и напомнил:

– Я задал вопрос, не молчи! Чего боишься? Сабля ножны не режет.

Растерянность и беспокойство отразились в выцветших глазах почтенного старца. Сложив пергаментные руки на животе, как и другие советники, освобождённые своей учёностью и почётом от обязанности падать ниц перед Повелителем, он мучительно держал паузу, боясь навлечь на себя гнев владыки. Ведь, слово не воробей, вылетит – не поймаешь.

Ответ же кто-нибудь? – Шамиль скрестил на груди руки. В его сухом пристальном взгляде дрожали огневые светлячки. – Может. Ты? – он скользнул взглядом по морщинистому лицу учёного-мухаджира из аула Кабир Кюринского общества. – Или ты? – Имам перевёл беглый взор на мудреца Галбаца из Караты. – А может, ты. Ибрагим?

Но благочинно молчали убелённые сединами мухаджиры. Каждый из них кожей чувствовал скрытое раздражение в голосе владыки. Но каждый и задал вопрос себе: «Что лучше сказать: горькую правду или сладкую ложь? О., Алла... уж лучше быть немым, как рыба... Невысказанному слову ты господин, высказал – ты его раб».

Имам покачал головой и начал наматывать на палец с изумрудным перстнем жесткий завиток бороды.

– Бисмиллагьи ррахИмани ррахим... – Шамиль прошептал молитву, провёл ладонями по лицу и бороде. Дождался, когда тоже сделают его мухаджиры, и лишь тогда, сказал накипевшее:

– Странно и подозрительно ваше молчание... Или вам изменила смелость смотреть правде в глаза... Или вы стали жить правилом: плюнь вверх – усы пачкаются, вниз борода? А может, вы от меня что-то скрываете? Он снова оглядел их с ног до головы, как лесоруб оглядывает дерево. Кое нужно срубить, ищет на крепком стволе место, куда всадить топор. – Или у вас рты остались только для хлеба? А как же совесть, что сильнее мук ада? – Шамиль медленно поднял глаза, и мухаджирам показалось, что веки, прикрывавшие чёрно-карие, глубоко

запавшие глаза Имама, были отлиты из тяжёлого чугуна. И он, чтобы их приподнять, напряг руки, мышцы груди и плеч. – Э-э, что сделать с вами за это? – он вопрошал своих советников, как Высший судья, как Карающий Дух гор. И от его слов, шеи их коченели.

Грозный Шамиль, заложив большие пальцы за наборный кожаный пояс, не хотел прерывать разговор с мудрецами, в чьих умных. Исстрадавшихся глазах светились: почитание, страх, благодарность, тревога и счастье – одновременно. Между им и ними существовала незримая связь, от которой и он, и они испытывали беспокойную, необъяснимую зависимость, в которой остро нуждались в этот роковой час.

Имам смотрел на этих уставших молчаливых людей, прошедших с ним огонь, воду и пору величия; находившихся от него в полной зависимости и ловил себя на том, что они хотели бы уравнивать себя с ним; сделать их отношения такими, после которых могли бы свободно встречаться с ним в оставшиеся земные дни! Внимать друг другу, помогать в минуты горестей и после прожитых жизней так же вместе очутиться в раю, но тогда уже не под тенью сабель, а под сенью цветущих деревьев.

– Воллай лазун! Молодец, Хаджияв из Караха!.. – Имам понимающе усмехнулся, кладя руку ему на плечо. – Всё так... Для рта, который молчал – две доли. Хэ-хэ... И тайно грешившая – явно рождает, верно? Однажды и дочь муллы согрешит... Ты знаешь, Хаджияв... Отрезавшего хвост – змея не забудет, убийцу отца – сын не забудет. – Губы Шамиля искривила мстительная улыбка. – Думаю, вы все поняли мою мысль. Имама обмануть можно, Аллаха нельзя... Ай-е! Дышите свободно, – приказал Повелитель, и в его твёрдом приказе не было прежней суровости и угрозы, а едва уловимая весёлость. – Верю. Худжияв, у тебя нет камня за пазухой. Как и у всех, кто не предал... Кто поднялся вместе со мной сюда, – в орлиное гнездо. Биллай лазун! Крепость и неприступность Гуниба – равна мужеству и силе его защитников. Здесь! – он с силой топнул ногой, сдал костяную рукоять своего кинжала и впился глазами, в собравшую послушать его огромную толпу. – Здесь не было и не будет слышно голосов малодушных! Тех, кто у своих очагов вместе с бабами, назвал нас, защитников Гуниба – безумцами. Здесь нет и тех, продажных шакалов, которые трусливо поджав хвосты, бежали в услужение к Белому Царю!

Хо! Они полагают, что склонившаяся голова, легче сохранит свою жизнь, чем непокорная, гордая, помнящая о могилах отцов и чести Кавказа! Но так думает и баранья башка, когда смиренно вытягивает шею под нож резника.

Эти презренные псы думают у них папахи на головах? Хай, хай... Но папахи их головы не спасут от праведного гнева наших шашек.

Они думают – они мужчины, раз у них усы и бороды! Но усы есть и у поганой собаки, а борода у козла. О, Небо! Клянусь своей кровью... Изменникам Имамата, лучше находиться под землёй, чем на земле!

Уо! Эти шайтаны считают защиту Гуниба ошибкой! Моей роковой ошибкой! Хо! Мои прежние найбы стали дерзкими и коварными, как осмелевшая стая вонючих гиен, окружившая одряхлевшего льва. Они мечтают за счёт гяуров, возвыситься надо мной, только и ждут случая. «Поклонись восходящему солнцу, а не закату его», – говорили наши отцы и деды... Но мой час заката ещё не настал. И, клянусь Небесами, время рассудит нас.

* * *

Скопище людей между тем прирастало всё новыми и новыми папахами, бурками, кинжалами и платками. Взоры собравшихся разгорались, как пламя; толпа напрягала мышцы, жадно ловила и впитывала каждое слово Имама, как растрескавшаяся земля, радующаяся любой капле живительной влаги.

Шамиль был возбуждён, каменные скулы горели багрянцем. Вещая в толпу, он получал в ответ немедленный ярый отклик. Был счастлив и опьянён всеобщим порывом единства. Его лик, как в былые достославные времена, озарился верой; жесткий широкий рот дёргала мгно-

венно пробежавшая судорога. Бронзовый кулак продолжал сжиматься, в такт срывавшимся с его губ призывам, которые разносил по гунибскому плато ветер. Будто слова эти – горячие алые угли, были завернуты в металлическую фольгу, и их, как жарено, доставали из раскалённой печи. Голос, сорванный до хрипоты, вырывался из напряжённого горла упругой булатной спиралью. И в эту спираль втягивались людские души.

Воллай лазун! Вооружённая до зубов толпа обожала его, верила каждому слову, была готова идти за ним на жертву и смерть.

...Шамиль, окружённый плотным кольцом дюжих, проворных быстроглазых телохранителей – бородачей. Порывисто поднялся на три ступени каменной башни. Так было лучше видно людей, так было лучше видно его.

– Уо! Я так и не услышал от мудрецов ответа на свой вопрос: что через два солнца ждёт нас всех? Жизнь или смерть? Победа или поражение?.. Что ж, тогда отвечу вам сам, хотя я... и не мудрец.

Да-а... нам, смертным, не суждено знать будущего. Всё во власти Аллаха. Но в одном, я убеждён точно: всех нас, стоящих здесь – ждёт бессмертие! Народная память о нас никогда не забудет! Птицы и люди будут петь о нас песни, горы и реки будут повторять наши имена. Хо! У малых народов большая судьба. Малым народам нужны большие кинжалы и большие друзья.

Волла-ги! Мы воины Священного Газавата. Языки наши, имена наши, обычаи и характеры – разные... Но у всех нас есть одно общее: верность и любовь к Дагестану! Никто из нас не пожалеет ни крови, ни жизни ради родной земли, ради свободы Кавказа!

Имам Шамиль воздел руки к высокому, вечному Небу, в котором гордо и величаво парили орлы. Бездонным и синим было оно, словно сапфировый купол над головой. Но только куполу, положен предел, а этому воздушному чистому океану предела не было. Оно было открытым во все стороны и бесконечным. А под ним, также во все стороны, насколько видит орлиный глаз, простилались только горы и горы, ничего кроме могучих гор, до самого солнца, низко висевшего в этот час над дальними пиками.

– О, Алла! – он обратился к Всевышнему, громким голосом, ничего не кланча и не вымаливая, с благородством и достоинством.

Затем окинул открытым взглядом, столпившихся вокруг него горцев и тем же твёрдым, со ржавчиной, голосом продолжил:

– Запомните люди!.. Кавказ – это центр мира! Волла-ги! Истинно говорю вам. Всевышний сотворил Кавказ, как единый дом, под крышей коего живут благодатные, свободолюбивые, смелые народы. Отсюда, от наших хребтов и долин, от наших горных рек и белых снегов, и началась история человечества. Билла-ги! Здесь, сокрытая и помеченная клеймом Кавказа, храниться великая тайна мира. И мы – горцы поставлены Творцом охранять эти тайны, беречь их для будущего правоверного мира.

Но вот урусы вторглись на Кавказ! Разрушили наш общий дом, изуродовали жизнь народов, осквернили наши ущелья, адаты и шариат! Талла-ги! Знаю, враги могут убить меня и моих сыновей... Возможно, убьют и вас – моих друзей, моих верных мюридов. Но сжатые в единый кулак наши пальцы никакому врагу не удастся разжать. Ай-е!

Этот булатный кулак тяжёл и верен, потому, что его сжали беды Кавказа и низамы нашего Имамата. Он схватит за горло врагов и вышвырнет их прочь из наших священных гор и долин. Так было и так будет!

Что ж, судьба и в пропасть сбрасывает, и спящего будит. Заклинаю вас, братья! Никогда не выпускайте оружие из своих рук! Кто не защищается – погибает. Защита воина – острое меча! Горе бросившим оружие! Бейтесь люди, бейтесь за каждый дом, за каждую ступень своего дома!

Имам перевёл дух, его грудь высоко вздымалась, точно он на миг вырвался из огненной сечи, испить воды.

– И последнее! – Шамиль сделал паузу, на висках и переносье его бархатисто лежала тень, на лбу в косой морщине сосредоточенного раздумья темнела пыль. – Правоверные мусульмане, вы сделали то, что требовалось, что было в ваших силах. Теперь всё во власти Божьей. Молитесь, братья! Точите кинжалы и шашки, готовьте ружья...И да продлит ваше время Аллах. Вассалам, вакалам. Аминь.

Биллай лазун! Его со всех сторон окружали люди; они махали руками, потрясали оружием, старались дотянуться, прикоснуться к своему Повелителю, живому пророку. И глаза верховного вождя, наставника и трибуна, невольно подёрнулись счастливой поволокой. «Невозможное – возможно!» – пульсировало в его висках. Он милостиво кивал головой, приложив руку к груди, будучи среди любящих его, верящих ему, ловивших его дыхание и его слова.

Воззвание Шамиля к защитникам Гуниба закончилось. Мухаджиры низко склонили головы, и, не поворачиваясь, почтительно попятились назад, растворившись в гудящей толпе. Возбуждённый народ шумно расходился – распадался комьями, гроздьями, как распадается вязкий осиный рой.

* * *

Сам Имам оставался на месте в окружении свиты; он стоял на ступенях задумчивый, с привычно суровым, серьёзно-сосредоточенным лицом. В глазах исчез восторженный блеск и дурман. В остановившейся глубине зрачков, появилась знакомая осмотрительность, тревога, подозрительность и бесконечно работающая мысль. Взгляд его блуждал далеко, поверх голов расходившихся. Рядом с ним стоял старший сын Гази-Магомед и теснились другие высшие сановники бывшего Имамата.

Шамиль вновь посмотрел на молчаливые горы, откуда должен был появиться противник. В сей предвечерний пышно расшитый красками час, горы казались ему особенно прекрасными, но и враждебными, рубиновые зубцы которых мрачно отражались в его зрачках. Казалось, повсюду распростёрся полог гнетущей тайны, за густой чадрой которой, до времени таилось нечто ужасное и неизбежное.

Гази-Магомед заметил: тень набежала на лицо отца, и оно на миг потемнело. Глаза его не отрывались от далёких гор, над которыми тянулись, словно омытые кровью, сизые облака. Отец ещё долго стоял на ступенях, и лицо его казалось высохшим и постаревшим на фоне ложной чистоты белых снегов, покрывавших вершины гор за пределами гунибского плато.

– Тебе плохо, Имам? – тихо спросил Гази-Магомед. Их родные глаза встретились на несколько секунд. И сын, как никогда прежде, близко и чётко разглядел изрезанное морщинами лицо отца. Помолчали. Отважному Гази-Магомеду стало не по себе. Было почему-то страшно произнести даже слово, каждое слово теряло своё значение и значило теперь только одно: смерть. Он посмотрел на старую, выдавшую виды черкеску Имама, на надорванный в одном месте рукав, на истёртый ременной пояс, на котором висел кинжал, и ему вдруг стало нестерпимо больно и горько за отца, за этого великого, не знавшего себе равных по силе влияния и почитания человека на всём Кавказе.

– Что ты так смотришь, сын?

– Ничего. Запах какой?...Похоже гроза...

Шамиль кивнул. И Гази-Магомед понял: отец, как суру, прочитал его мысли и чувства.

– Сын, ты знаешь такого...Гобзало из Гидатля? – Имам строго посмотрел на него.

– Ай-е! Конечно, отец. Твой верный мюршид-урадинец, ведь так? Он всюду с тобой и...

– Я оставил его, – резко перебил Имам, – у Килатля...с горстью мюридов...следить и докладывать мне за продвижением войск гяуров...Есть ли от него какие-то вести?

Шамиль вдруг подался вперёд, и весь, окаменев каждой складкой своей черкески, каждой морщиной лица, не понимая, как он сам ужасен в своей мёртвенной белизне, в свое вымученной отчаянной твёрдости, прохрипел:

– Так есть или нет? Не тяни!

– Нет, Повелитель. – Гази-Магомед отрицательно кивнул головой и скупой добавил. – Никаких вестей. Ни от него. Ни о нём.

Шамиль закрыл глаза, глубоко втянул воздух и дрогнуло плечом, будто от холода. Потом выдохнул, прирассветил глаза, повёл взглядом по сторонам, остановился на мужественном лице сына и несколько секунд смотрел ему в глаза.

– Худо дело... – глухо, так, чтоб не слышали остальные, выдал Шамиль. – Из ста дней один день нужен... А его нет! Раньше у меня всюду в горах были свои глаза и уши. Теперь же я глух и слеп... Мюршид Гобзало и его гидатлинцы... Это была моя последняя надежда... связь с Дагестаном. Э-эй, шайтан! Где его носит злой дух?

Отец стоял перед ним, исхудавший и чужой, на впалых щеках катались обтянутые бронзовой кожей желваки. Тёмная рука его ястребом упала на плечо сына. Промеж сжатых пальцев набилась шерсть чёрной бурки.

– Если сам... или кто-то из его мюридов объявится, срочно ко мне!

– Воллай лазун! Я услышал тебя, Имам. Будет сделано.

* * *

...Закрывающий колонну Чеченского отряда графа Н.И. Евдокимова, батальон князя Волконского был на марше в общем движении войск. 2-ая рота капитана Притулы, укрытая от пыли до глаз шейными платками, перетянутая ремнями амуниции, в защитных чехлах на фуражках и кепи, плотно следовала в походном строю.

Батальон был уже сажень двести впереди казачьих сотен, ехавших следом, и с высоты их седёл, сквозь шлейф пыли, казался какой-то чёрной сплошной колеблющейся массой. То, что это пехота, можно было догадаться лишь потому, как длинные трёхгранные иглы штыков – густыми стальными щётками сверкали на солнце, да изредка, из сего лязгающего стально жгута долетали до слуха звуки солдатской песни, сухой трескотни барабана, флейты-пикало и славного тенора, подголоска 4-ой роты, которым Виктор, вместе с другими офицерами, не раз восхищался ещё много прежде, когда их батальон, по воле судьбы, заполучил этого рязанского «соловья».

*Плачьте красавицы, в горном ауле,
Справьте поминки по нас;
Вслед за последнюю меткою пулей
Мы покидаем Кавказ...*

Рота, будто разбуженная залившимся вскриком запевалы Носкова, лужёно рывкнула внушительный припев, заканчивающий каждый куплет этой песни:

Алла-га-а!..Алла-гу-у!

Слава нам! Слава на-ам!

Смерть врагу! Смерть врагу-у!!

А им в догон уж летело ревнивое, лихое. Станичное; удалая двухрядка, хрипя мехами. Резала «казачка», и не менее сотни глоток хватали:

*Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржёт, когой-то ждёт.
В ограде бабка плачет с внуком,
Жена-молодка слёзы льёт.
А из дверей святого храма
Казак в доспехах боевых идёт,
Жена коня ему подводит,*

*Племянник пику подаёт...
Царю верой-правдой служим,
По своим жалмеркам тужим.
Баб найдём – тужить не будем.
А Царю...полудим.
Ой, сыть! Ой, жги!..
У-ух! Ух! Ух! Ха!
Ха-ха-хи-хо-ху-ха-ха-а!*

– Эх дьяволы их валтузят! – хохотнули рядом с капитаном Притулой апшеронцы. Он подмигнул им и рывкнул через плечо:

– Третий и второй взвода под-тя-ни-ись! Шире шаг, черти! Шир-ре!

Над головами курилась низко повисшая рыжая пыль. На душе было волнительно, как-то празднично и спокойно.

...У зачехлённого орудия, что грёмкало По-соседству, Виктор Иванович краем уха услышал разговор; Михалюк, дюжий детина из первого взвода, с сивой щёткой гренадёрских усищ горячо спорил с бывалым батарейцем:

– ...Да ну тебя к бесу! С такой-то силищей да не жажнем? Будя шептунов подпускать, Василич! Бацнем разок-другой, и душа басурмана вон! Глядишь. Через седмицу, другу восво-яси тронем.

– Ой ли... – артиллерист с усмешкой покачал седой головой. – А ну как нас пошинкует татарин? Спаси Господи...

– Брехня. Супротив нас, какая дёржава на ногах устоит? Как зачнём крошить. Чертям тошно станет! Ты глянь. Глянь, сколь мундирного народу согнали...Страсть! И перса и турка били, а тут...

– Так ить стоит же Шамилька-стервец! Пуще прежнего стоит...

– Вот и поглядим. Как он нонче подкован, упырь.

Мимо. Тесня пехоту, прорвались густые лавы конницы, нескончаемо потекли гривастой рекой в переды. Виктор остро ощутил горделивую радость: такая мощь, такая стремнина, бурля и сметающая всё на своём пути, прорывалась к Гунибу. Но рядом с самолюбивой радостью тяжело ворохнулись в нём и тревога, и полынная горечь: сумеют ли наши без великих потерь взять неприступный Гуниб. Хватит ли у генерал-фельдмаршала Бярятинского должного умения и чутья, не идти напролом по трупам своих офицеров и солдат. Не повторит ли он смертельную ошибку светлейшего князя М.С. Воронцова, – у коего тоже, в сорок пятом было положительно всё...и который всего лишился. Да уж. Будь проклят тот «сухарный поход»... «Тогда тоже, мать вашу...с «кондачка» решили исполнить Высочайшую волю. Экспедиция на Дарго, с 6-го по 20 июля, завершилась катастрофой. Волчье логово в Чечне – аул Дарго был, правда, взят и обращён в пепел...Но на обратном пути наши войска. Приходи кума любоваться...намотали кровавые кишки на кинжалы и шашки горских скопищ и понесли катастрофические потери – свыше трети всего состава¹. Что ж, вечная память героям! Мёртвые сраму не имут. Известно русскому солдату: Кавказ это рай земной, заканчивающийся адом. Всё так, брат. Всё так...»

Кавалерия отгрохотала щёлкающим по гальке и камню звяком подков, скрылась в клубах неприглядной пылищи, провожаемая отборными матюгами пехоты.

Капитан Притула, сам в себе, не обратил внимания; вырубил огня и раскострил трубку; запах астраханского табаку и трута в эту минуту. Повсему, более занимал ротного и показался ему необыкновенно приятным.

* * *

...Над головами парили в чистой лазури чёрные, словно могильные кресты, грифы-стервятники. Путь лежал серединой глубокого и обширного Телетлинского каньона, близь скали-

стого берега гремливой речки, что пенилась и бурлила после ночного проливного дождя. Шумные стаи диких голубей вились возле неё, то садились на гранитные берега, то стремительно повернувшись в прозрачной купели воздуха, и делая быстрые круги, исчезали из вида.

Раскалённого лика солнца ещё не было видно, но верхние гребни правой стороны каньона уже вспыхнули золотой слюдой. Розовые, серые и белые глыбы, жёлто-зелёный мох, схваченные алмазной росой кусты держи-дерева, карагача и кизила проявлялись с графической ясностью и выпуклостью на прозрачном, ещё ломком свете бодрящего утра; зато противная сторона, исполинского каменного навеса и лощина, схваченная млечным туманом, который волновался дымчатой прожилью, были серы и мрачны, как фиолетовая тень позднего вечера.

Прямо перед идущей колонной, на спелой сини горизонта, с волнующей ясностью вставало на дыбы ярко-белое громадьё величественных гор с их гранёными, но изящными тенями и очертаниями. В воздухе пряно пахло водой, травами и туманными мхами, словом пахло новым прекрасным, народившимся горным утром, которое через час другой грозило превратиться в раскалённую печь.

Подпоручик Комаров. Следуя впереди своего взвода, с любопытным беспокойством стрелял яркими глазами на командира. Капитан и впрямь казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта изгрызенного мундштука трубки и с каждым шагом ускорял ход роты.

Они уже почти догнали ширванцев, чьи бурые телячьи ранцы, побрякивавшие котелки и ружья были хорошо видны. Когда сзади слышался дробный перестук копыт, и в ту же минуту мимо пролетел лихой сотник, в алой черкеске и сбитой на затылок низкой кубанской папахе. Внезапно он молодецки на полном скаку осадил коня, до отказа откидываясь назад, едва не опрокинувшись в пыль вместе с ним. Но ловко совладал, и шально сверкая глазами и надраенным серебром газырей, поравнял ошалелого скакуна рядом с ротой капитана Притулы.

Чёрт в костёр! На ходу, глянув на этого забубенного казачину, Виктор Иванович тут же признал его. Это был тот самый кубанский, картавый сотник, – Артём Кошевенко, которому наемни, капитан в пух и прах проигрался в карты. Сей кубанец на высоком буланом коне, был вельми известен в полку за отчаянного храбреца-рубаку, бузотера, бабника, выпивоху, картёжника, и того казака, коей хоть чёрту даст прикурить в зубы, хоть самому фельдмаршалу правду в глаза отрежет.

Тьфу, дьявол! Сотник был пьян в дым; налитые дурной кровью глаза дико и вызывающе тарасились на невозмутимо продолжавших идти стрелков.

– Наше вам, гразведка! – Он бросил зажатую в кулаке ногайку к рассыпанному по лбу кудрявому чубу и на его потном, морёном лице снова разбойно сверкнула щербатая улыба.

– Тю-ю, гразведка! – Пошто в охвостях плетётесь, аки мотья у бредня? – пьяные ноты рвали его хриплый картавый голос. При этом, не удовлетворяясь простой ездой, он. Как говорят на Кавказе, джигитовал, то бишь, жая плёткой по крупу и шее коня, принуждал того сделать три-четыре прыжка и круто останавливаясь, поднимал на дыбы.

– Капита-ан! – Кошевенко, подмигнул ему, как Старому собутыльнику-кунаку, и колупнув траурным ногтём обгоревший, шелушившийся нос, предложил. – Могёт, пегрекинемся в кагрты ишо гр-разок? Авось, повезёт, гразведка... Кубыть, отыг-граешься, ась?

Притула отмахнулся от сотника, как от назойливого слепня, зло прикрикнул, на развесивших уши, молодых солдат.

– Добгре! Не серчай... – понимающе хохотнул казак. – Вот погрубаем обрезанных чучел, тадысь и пегрекинемся в дуграка. У меня всё готова к паграду, – он, по-конёвьи кособоча голову, сбил со лба прыгавший мокрый от пота чуб. – Глянь-ка! – Артём Кошевенко ударил себя кулаком в грудь. – Мать её в щель... У меня и черкеска кумачёва, как у палача грубаха. Аха-ха-а! А хошь, башку снесу? – сотник внезапно вырвал из ножен шашку, на лезвии которой вспыхнула белая слепящая молния.

– Кому? – не сбавляя походного шага, усмехнулся в усы капитан.

– Да хоть ихнему Шамилю! Убью, не моргну, нет во мне жалостев.

Мутные во хмелю с рыжими брызгами глаза Кошевенко смеялись, но Виктор по голосу, по хищному трепету крыльев ноздрей понял, что говорил тот серьёзно.

– Э-ээх, дайте мне ковань ё..ть, покуда я в горячке! – Сотник, озверело оскалив плотно стиснутые зубы, вдруг привстал на стремяна. За вскинутой конской мордой Виктор на миг потерял кубанца, но видел горбатый спуск шашки, тёмные доли её. Жуткий по силе, рубящий удар с протягом, чисто срезал наискосок ствол молодого дубка, толщиной в руку, что зеленел у дороги. В следующий миг, дико заорав мимо лада:

...Эх, тесны Царские хомуты!

По низовьямё голи зычет:

«Атаманы, казаки!...»,_

Кошевенко, напрочь забыв о Капитане, сорвал в бешенный намёт жеребца, только пыль столбом. Куда?..Зачем?! А х... его знает!...

– Вот тебе...мать-перемать! – пробившись сквозь заслон солдат, восхищённо присвистнул Лёнька Комар. – Да уж, окаяха, голова-два-уха. И впрямь, видать «нет жалостев к кровям». Зверь!

– Да, ну-у? – покашливая в кулак, усмехнулся Притула. – Брось, и не такие компоты видали-с... В запое он, ужли, не зришь? Водку с чихирём жрать меньше надо. Зальёшь за ворот, как он, брат, ещё и не такие узоры загнёшь. Он, видать, нынче себя атаманом Платоновым мнит, аль Гарибальди по меньшей мере. Эх, только б дров не наломал, дурак... А этот может.

– Гарибальди? – Едко усмехнулся в нежные усы Лёнька. Он лукаво сверкнул весёлыми глазами и сбил перчаткой пыль со своего плеча.

– Что-о? – капитан от сей шпильки, аж подавился дымом.

– Я-с говорю...

– Разговор-рчики! Не умничай, подпоручик. – Притула, крутнулся на каблуках. И командно рявкнул:

– Ну! Что стоим, господа-офицеры? Какого чёрта трём-мнём?! Комаров, будь ты неладен!...Соколом в стр-рой, подпоручик! Рр-рота-а! По-одтяни-ись! Повзводно, в колонну за мной...шагом...арш-арш!

Глава 6

Отдохнувший ретивый конь, не зная устали, будто на крыльях нёс Гобзало. Хай, хай... Давным-давно за спиной остался Кахибский перевал...

Солнечный день сменила тьма, но Гобзало на сей раз ночёвки не делал. Вместе с тьмой нагрянула непогода в горы. Налёг мрак, скрыл всё. В небе: ни рогатого месяца, ни хороводов звёзд, ни Млечного Пути... Природа неистовствовала, выл и рыдал ветер... Но грозовой ливень прошёл стороной. Он бушевал над Гунибом, там – оглушительно грохотал гром, вспыхивали жуткие, набухшие гневом жилы молний, и земная твердь снова погружалась во мрак преисподней...

Торжество ночи подходило к концу. Прежних раскатов грома больше не было слышно, но стрелы молний ещё змеились по чугунному небу в стороне Кара_Койсу и Гуниба, освещая разгромленные бурей окрестности. Звери в горах и те отлёживались по своим логовам, не смея высунуться наружу. Яростные порывы ветра продолжали гнуть деревья, которые чёрной траурной полосой тянулись по горбтому взгорью. Мелководные ручьи и речушки вздулись и ревели теперь на порогах. Узловатые ветви карачей, чинар и дубов стонали, как люди на дыбе – жалобно, жутко, а листва, изнемогающая под натиском ветродуя, шелестела прерывисто и злобно, подобно гремучей змее. И от всего этого мятежного буйства природы веяло гнетущим ужасом грядущих испытаний, в которых слышались рыдания с коими, сливался обречённый бессильный женский крик...

Где-то в небесах сверкнула запоздавшая молния, озарила затерянный в дебрях гор Унцукельский перевал. Как призрак, возник на нём всадник, закутанный по самые глаза в башлык и бурку. Мгновение и всадник исчез в зияющем мраке ущелья; земля ли разверзлась и поглотила его, или, обратившись в демона, он воспарил в небо под шорох чёрных крыльев, и улетел вместе с ветром.

* * *

Бледный рассвет поцеловал нахмуренный лоб Дагестана, смягчая безжалостное неистовство стихии. Небо сияло девственной чистотой, и прозрачное золото солнечных лучей играло на горных вершинах. Разорённая, растерзанная земля была грустна, но солнце восходило уверенно, властно, и словно шептало слова утешения: «Впереди хорошего – плохое, впереди плохого – хорошее. Злясь да печалясь, за счастье не ухватишься».

...Тропа сделала вилку. Направо – дорога в аул Ишичали. Налево – гора Киятль. «Хэй-я! Хок! Хок!» – Оскалив стиснутые зубы, Гобзало приподнял узду, и скакун надал ходу. Гнедые конские уши были плотно и зло прижаты, шея, вытянутая, как на плаху, туго ритмически вздрагивала.

С каждой саженью он был ближе к сторожевой монументальной гончарно-красной горе Килатль. В голове одна мысль о соплеменниках: Магомед, Али, Гула, Тиручило... Волла-ги! Все они были молоды, но самолюбивы и храбры; все получили в наследство от отцов горячую вольную кровь и обычаи гор. Что греха таить? Шило в мешке не спрячешь. Тревожилось сердце мюршида о них... Столкнись они с белыми псами – мирно не разойтись – за теми и за другими кровь, а это горцев, пуще любой плети, бросает в бой!

«Скорее! Скорее!» – стучало в висках. В какой-то момент Гобзало почудилось: он уже слышит шум, крики проклятий, боевые кличи и звон оружия!

...Шор не сбавляя скока, шумно врубился грудью в бурлящий, струящийся плотный холод. Тысячи бриллиантовых брызг ослепили мюршида, омыли запалённые скачкой лицо. Быстрая ледяная вода обожгла, хлынула в чувяки, ноговицы с чиразами, стиснула колени, плеснула ледовой плетью в пах. Но Гобзало лишь крепче стиснул зубы и вытянул плетью, взби-

равшегося на крутой берег коня. Тот огласил дол надрывным ржанием и рванул по тропе с удвоенной силой.

Впереди показалась могучая седловина Килатля, в которой, как в колыбели дремали белые облака. Гобзало весь напрягся, как стальная пружина, под черкесской взбугрились мускулы, ноздри расширились и покраснели. Ай-е! Слава стоящим над ним Небесам! Он достиг цели. Ещё рывок и он крепко обнимет своих кунаков, поделится радостью, – рождением сына Танка!

* * *

Как только дагестанское солнце выкатилось из-за горы и наполнило светом долину, по которой продвигались войска, последние космы тумана истаяли на глазах, и зной липким взвизгом затопил всё окрест.

Из дневника гвардейского капитана В. И. Притулы:

«Дьявол! Мы плывём в каком-то аду! Солнце так огромно, так беспощадно, что кажется, мы все сдохнем здесь на радость врагу, шакалам и грифам. Зной стоит уже третий час к ряду. Не знаю сколько было этих чёртовых градусов в тени на термометре: сорок или все пятьдесят... Знаю только, что он был непрерывен, безнадежно ровен и глубок, как гиблый омут. И знаю ещё приказ командующего: «Переход в пятьдесят вёрст». Горы будто вымерли, ни ветерка; мелкая известковая пыль, поднимаемая тысячами ног и копыт, стояла над нами и душила не хуже волосяной петли; она лезла нам в рот, ноздри и уши, пудрила волосы, так, что нельзя было разобрать их цвета; смешанная с потом, она покрывала все лица грязевой коркой и превратила их в какую-то запеченную в золе кожуру.

Косматое страшное солнце нагревало сукно наших мундиров, невыносимо пекло головы сквозь кепи, фуражки и кивера; гудящие ноги чувствовали сквозь подошву раскалённый щебень, точно мы шли по горящим углям. Люди задыхались и продвигались в каком-то бреду. Вода была на исходе. Как на беду дагестанцы-проводники сообщили: «В сей местности, воды нет. Надо дойти до Аварского Койсу».

Чёрт в костёр! Колодцы крайне редки и воды в них – кот заплакал. Голова нашей колонны вычерпывала всю воду, и нам, осталось только глинистая жижа, скорее грязь, чем вода. Но когда не хватало и её, – люди падали. Бог мой! Два таких колодца были отравлены мюридами. В них плавали разбухшие, схваченные тленом трупы русских солдат. Одиннадцать отдали свои души от обезвоживания и солнечного удара. Царствие им Небесное.

...Сам иду тоже на «честном слове». Впрочем, сию пытку я выносил, сравнительно с другими, легко. Может быть, потому, что я родом из Бабажского уезда Черкесской губернии. Это неподалёку от Умани...

Моя маменька – Мария Андреевна (в девичестве Ляшова) – из кубанских казаков. Позже, по воле судьбы, маленькая Маша Ляшова попала с берегов Лабы на берега реки Куры в солнечный Тифлис, а там летний зной сродни Дагестанскому... Быть может, посему мне и было отчасти легче переносить эти адские танталовы муки. А возможно, тут дело в другом. Право, мне случалось замечать, что простые солдаты принимают физические страдания ближе к сердцу, чем солдаты из так называемых «привилегированных классов», т.е. пошедших тянуть солдатскую лямку по убеждению и собственному желанию. Последние, те же люди, кои шли на войну сознательно, хотя физически страдали отнюдь, не менее, а может и больше солдат из простых людей, – вследствие изнеженного воспитания, сравнительной телесной слабости и прочего, – но душевно были спокойнее и крепче. Их душевный мир не мог быть нарушен избитыми в кровь ногами, невыносимым холодом или зноем, равно, как и смертельной усталостью.

...Как на духу: во мне никогда не было такого полного душевного спокойствия, как в тот день, когда я испытывал невзгоды и вёл под пули солдат убивать людей. Дико и странно может показаться всё это, но я пишу искренне, и полагаю, правду.

Как бы то ни было, когда иные падали на дороге, я всё же помнил ещё себя и отдавал приказ помочь несчастным. Ещё в Чечне я запасся огромною тыквенной кубышкой, в оную входило до пяти бутылок! С армейской фляжкой не сравнить... На марше мне пришлось не раз наполнять её водой; половину этой воды я выливал в себя, другую раздавал соседям. Тяжко видеть: идёт человек, перемогается, но убийственная жара берёт своё; ноги подгибаются, тело качается, как у пьяного; сквозь коросту грязи и пыли видно, как багровеет, затем чугунеет лицо; окостеневшая рука судорожно стискивает винтовку. Глоток воды оживляет его на несколько минут, но приходит срок и человек без памяти валиться в пыль на камни. «Дневальны-ый!» – кричат хриплые голоса обер-офицеров. Обязанность дневальных – оттащить упавших в сторону и помочь им; но и сам дневальный – не лучше. Канавы по сторонам дороги усеяны людьми; то тут, то там валяются трупы издохших выучных лошадей. Рядом идёт молодой солдат-первогодок Ватрушин; слышу шелест молитвы, что срывается с его спёкшихся губ: «... Спаси и помилуй... Не оставь меня Царица Небесная, ни убитым, ни раненым, ни сарычам, ни серым волкам на растерзание...»

...Как командир, время от времени, задерживаю шаг, оглядываю вверенную мне роты. Жалкое зрелище.

Подпоручик Комаров, прапорщик Лесковский, поручик Лазарев – мои взводные и моя опора, – идут со своими стрелками и хотя по всему страдают зело, но крепятся. Молодцы господа-офицеры! Испепеляющая жара произвела на них действие сообразно с их характерами, да только в обратную сторону: красавец Лесковский молчит и только изредка рубит команды: «Взво-од! Держим стро-ой! Лево-ой! Лево-ой! Ир-раз, два, три!...»; Лёнька Комар, как всегда... С лихорадкой на одной ноге, себе не изменяет: весел чертяка, собачится с унтером Шандыбиным и резонерствует:

– Ишь, валиться новгородская каланча! Петров, сволочь! Шаг держать... Штыком заденешь рожу товарищу... Чё-орт! – яростно кричит он, отклоняясь от штыка упавшего Петрова, который едва не попал ему остриём в глаз. – Дневальный! Мать твою!.. Живей, каналья, булками шевели!... Ну, я тебе... испекусь!

Как манну небесную, ждали вечера. Но солнце было ещё высоко, а до Аварского Койсу далеко. Раскалённый воздух дрожал, и беззвучно, словно готовые потечь, дрожали скалы; и дальше ряды пехоты, орудия и лошади, казалось, отделились от тверди и беззвучно плавись, студенисто колыхались – точно не живые то были люди, а войско бесплотных теней... Вокруг никаких горцев, только красные скалы, горячий воздух, да чёртовы стервятники в небе, как могильные метки: помни о смерти урус!...

* * *

И вот случилось! Святой Боже! Дошли!!

Студёные чистые воды Аварского Койсу, о коих были все наши чаянья, неистощимые мольбы, омыли нашу грешную плоть. Бог весть, откуда, только силы взялись! Полки, батальоны, роты за ротой, будто в атаку, на штурм, – бросились к драгоценной реке – весь бесконечный день, вода нам всем только грезилась!..

Каскады холодных живительных брызг обожгли наши черные, лоснящиеся от грязи и пота лица. Рассыпаясь, струилась, ласкалась в руках «живая вода»; сверкали глаза и зубы, мелькали колени и крепкие спины, мускулистые груди и руки, лодыжки и плечи; разминая уставшие члены, стонала, кряхтела, рыдала от счастья и благодати, ожившая русская плоть...

Аварское Койсу вышла из берегов от огромных заторов из человеческих тел; бурые, мутные воды от грязи, песка и пыли надолго скрывали многоверстную пойму от глаз.

* * *

...Гобзало оцепенел от увиденного. Он был почти не в состоянии смотреть прямо перед собой. Голова его напоминала наковальню в кузнеце, по которой с грохотом ударял молот. Где-то в центре мозга пульсировало багровое угасающее эхо голоса, который пару верст назад

прогрохотал в его сознании: «Талих! Гьеч! Олы! Беда! Беда!» Воллай лазун! Он услышал этот голос совершенно чётко, до потрясения.

Нет, не сразу он понял, вернее не захотел понять, что произошло здесь у отрогов Килатля. Вдруг схватился рукой за горло, словно ему накинули на шею петлю. Потом сорвал с головы папаху и провёл ею по сырому лбу. От подножия горы неуловимо тянуло гарью, дымом, сожжённым порохом. Биллай лазун! Ему был хорошо знаком этот удушливый, прогорклый запах – так смердели спалённые аулы, которые попадали под железный каблук русского сапога. Так пахла смерть. «Дада-а-ай! Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного – нет!» – эта мысль, как кипяток, ударила из сердца, шибанула в голову, в застывшие жилы; всё в нём мгновенно вскипело, взбурлило жадной мщенья. Но мужчинам не пристало теряться в горе. Он спрыгнул с коня, стал изучать следы. Страшные опасения подтвердились – враг истребил едва ли не всех мюридов его отряда. Гобзало казалось, мир рухнул под ним. Тысячи мыслей, одна, мрачней другой, вихрем промчались в голове; точно безумный схватился за кинжал. С диким блеском в глазах, с обнажённым клинком, он жаждал сразиться с неведомым врагом – быть убитым! Убитым той же рукой, что оборвала жизни его верных мюридов. Но не было тех, кто устроил эту бойню, – лишь разбросанные вдали друг от друга трупы горцев, да убитых коней.

Гобзало, теряя рассудок, вскочил на храпевшего Чора, – отчаянье когтило сердце. Он всё понял. Как не понять? Предчувствие не подвело. «Как же мне быть? Пропал я! Имам не прощает таких ошибок... – и вдруг мелькнула всполохом злобная мысль. – Одноглазый Магомед ответит за всё!» И он, одержимый, в приступе бешенства принялся было искать его глазами. Но бешенство быстро прошло, и встал вопрос: «Почему виноват именно он? Уо! Пристрастные глаза слепы. Казна мужчины – верное слово, светоч мужчины его глаза. Зачем плохо подумал о кунаке? Бурка хороша новая, а друг – старый.

* * *

Гобзало ехал шагом по запятнанной кровью земле. По своей земле ехал, по дагестанской, – запятнанной кровью горцев.

«Какая мёртвая пустыня... Ни человека, ни лошади, ни собаки...»

Тёмная шевелившаяся масса впереди привлекла его взор. Жеребец фыркнул, наторошил уши. Мюршид подъехал ближе. Несколько нахохлившихся лысоголовых грифов теснились пыльным ворохом перьев, подсакивали на жилистых, когтистых лапах, щёлкали огромными клювами над добычей, лежавшей на обочине ослепительно залитой солнцем дороги, по которой курилась пыль.

Гобзало взмахнул плетью. Тяжело треща огромными траурными крыльями, пружиня на лапах, стервятники неохотно взлетели и опустились невдалеке на брюхатый труп, ошеренной лошади. Обочь свежей дорожной колеи, оставленной солдатскими фургонами, в странном положении, словно в судорожном порыве лежал старик в изодранном старом бешмете, а рядом с ним два совсем молодых джигита. Падальщики уже успели обезобразить их лица, ещё хранившие мужественные черты; полчище звеневших мух кружилось чёрным облаком над ними.

Мюршид сцепил зубы, задержал дыхание, с трудом, но он узнал этого старика и его сыновей. Ай-е! все они были гумбетовцы из Ишичали – Люди Солнечной Стороны. Старик – чабан Юсуф по прозвищу Душа Ножа, а рядом с ним сыновья Гани и Мусса, зарубленные казаками. Его белые, разметавшиеся, словно страницы жизни горцев, редкие пряди бороды, лениво колыхал суховей; местами они подмокли, став красно-бурыми, как и его рассеченная шашкой, впадая грудь. Сколько было этому горцу, Гобзало не знал, хотя под янтарными лучами полуденного солнца его преклонный, уважаемый возраст читался отчётливо. Овраги морщин были глубоки и напоминали Гобзало миниатюрную копию здешних мест. Рядом с обветренной временем кожей, старый, выдавший виды хурджин мюршида смотрелся почти новым. Но более всего Гобзало поразили глаза старика: застывшие, устремлённые в родное чистое синее небо...

Они были, как два осколка некогда целого красивого зеркала, полные непередаваемой боли, отчаянья и расстрелянной скорби...

– Будьте вы прокляты! – озираясь по сторонам, мертвым голосом прохрипел Гобзало. Ярость с новой силой вгрызлась в его воспаленный мозг, в котором гудел и кружился вихрь отчаянья. На окаменевшем лице его блестели капли холодного пота.

Но не только трупы и тлен увидел его взгляд. Волла-ги! Точно отставший от волчьей стаи вожак, – он долго отыскивал нужный след и нашёл его. Это был след горских коней. След этот был прям и стремителен. Как полёт стрел, пущенных в цель. Он уходил на Кара-Койсу, туда, куда стремились войска гяуров, туда, где в заоблачную высь возносился непокорной главою Гуниб, где укрепился Шамиль, где со дня на день должна была бесповоротно решиться судьба Кавказа.

– Хэй – яа! Аллах Акбар! Мёртвым – мёртвое, живым – живое.

Весь комок злости и ненависти, – Гобзало, сорвал с места и погнал, что было силы своего скакуна по этому следу...

* * *

Уже удлинились тени, когда Гобзало оказался у каменного голенища Анцухского ущелья. Призвав на помощь Аллаха, он въехал в теснину между двумя челюстями скал, будто в раскинутую пасть дракона, поглотившего тропу.

Тяжёлый лик солнца скользил за чадрой дымчатых облаков, ровно давал отдых своим глазам, уставшим взирать на зло и несправедность мира. В резко потемневшем воздухе ущелья появилась зябкость и становилась всё ощутимее. Ветер шипел в каменных трещинах и зубах стен, словно человек, цедивший слова, сквозь выбитые зубы.

...Гобзало, ехавшему по дну теснины, показалось на сверхъестественное ледяное мгновение, что он слышит собственное имя, что кто-то зовёт его из-за сгустившейся завесы сумрака, не то хочет о чём-то предостеречь...

Хай, хай... После великого нашествия арабов-завоевателей, магометанство, кое приняли дагестанцы, несомненно, укрепило в их верованиях понятия об одном Боге... О бессмертии души и загробной жизни... Но оно так и не смогло вытравить – истребить тысячелетнее поклонение горцев к древним святыням, почитание седых культов и верований далёких предков.

... Вот и теперь, охваченный суеверной тревогой, мюршид Гобзало не мог освободиться от гнетущего чувства: за ним кто-то пристально наблюдает. Напряжённо смотрит прямо на него или... сквозь него... Иай! На его лице вдруг застыла кривая улыбка, в суженых глазах мелькнуло ошеломление... Словно за свою насмешку, над верованиями пращуров, он получил пощёчину, нанесённую внезапно возникшей из темноты рукой.

Уф, Алла! В пальцах, державших узду, он ощутил вдруг нестерпимое жжение. Во внутреннем голосе его послышалась дроглая нота... Пересохшие губы поневоле шептали обрывки древних заклинаний, которые (как убеждали старики Урады) могли умиротворить козни и гнев потревоженных горных духов. Уж кто-кто, а седые мудрецы ведали: духи не любят, когда над ними смеются или придают сомнениям их присутствие в этом мире...

Он попытался расслабить онемевшие пальцы и сразу почувствовал холод, пробежавший между лопаток по позвоночнику. Вай-ме! Точно такой же холод он ощутил, когда в детстве на аульском мосту впервые столкнулся с жрецом Гидатля и взглянул в его бездонно-чёрные немигающие, как у гюрзы глаза – Воллай лазун! Давным-давно это было...

Чу! Мюршид Гобзало услышал глухой конский топот. Весь напряжение, он придержал Чора, прислушался, слегка подавшись вперёд. Вдруг выпрямился в седле.

– Уо! Кони подкованы русской подковой! Ца-ца-ца-ца-а! Должно быть, казаки! – чужим голосом скрепил он.

И тут же до его слуха донеслась приглушённая песня:

*Просвистела пуля свинцовая,
Поразила грудь она мою.
Я упал коню своему на шею,
Ему гриву чёрну кровью обагрю...*

Гобзало слегка стрёкнул коня пятками и поскакал обратно в надежде, что укроется в скалах и переждёт казачий разъезд.

Он мчался во весь опор. Хо! Казаки его не заметили, – погони не было.

Урадинец пронёсся узким ущельем; ещё чуть, и он будет свободен, как ветер.

Вдруг впереди загрела булыжная осыпь и грозный крик:

Кто едет? Сто-ой, холера! Убью!

Сердце бухнуло по рёбрам. Гобзало натянул повод. Конь захрапел, кусая зубами грызло, попятился назад, сразу почуяв опасность.

– Стой, кто едет! – снова зло гаркнуло из темноты, и тотчас срывая птиц с гнёзд, раскатисто грянул выстрел. Второй не заставил себя ждать. Свинцовая пуля с визгом отколола кусок базальта от уступа, за которым притаился мюршид. Своды ущелья вновь загудели неистовой перекличкой, похожей на уханье демонов.

Билла-ги! Горец круто повернул коня, понёсся вспять, но не успел до спасительной развилки... Узрел впереди казаков, рвущихся на грохот выстрелов.

Вах! Он очутился в западне – капкан захлопнулся, тропа ущелья была перерезана с обеих сторон.

Беглец конвульсивно смахнул пот со лба. Дрожь напряжения лихорадила плечи. Но Гобзало испытанный воин. Урадинский волк. С детства он был привычен к опасностям, риску, – не растерялся. Отважный не спрашивает: высока ли скала? У самого края дороги теснились скатившиеся со скал огромные валуны. Он быстро свернул с тропы и притаился за ними. Конь и человек замерли, оцепенели. Уо! Даже при ярком свете их трудно было заметить. Всадник всецело доверился чутью своего гривастого друга. Прижавшись крупом к скале, преданный жеребец стоял смирно. В его настороженном лиловом глазе отражалась фигура застывшего в седле мрачного воина: в косматой папахе, черкеске, с кинжалом на поясе и шашкой в зелёных сафьяновых ножнах; в дымчатом призрачном свете и всадник, и конь казались единым целым, вылитым из серебра.

...Терские казаки, (он узнал их по цвету лампас) радуясь безопасной безделке, с лихим посвистом, ветром пронесли мимо. На медном лице горца качнулась ухмылка презрения. Его даже обозлила, будто стегнула плетью, их беспечная бестолковость. «Летят куда-то, как индюки! Э-э, сорока мнит себя соколом, а каша – пловом».

И тут вновь зло, и ярость за своих погибших мюридов, заклокотали в нём, как вода в котле. «Врёшь, собака! Не уйдёшь без своей собачьей памятной метки!» – процедил он. Мгновенно вскинул штуцер, прицелился и спустил курок. Меткий свинец срезал крупного казака в белой, заломленной назад папахе, выбил из седла, подняв среди остальных сумятицу. Его увидели, заулюлюкали; стукнули дробью выстрелов. Но Гобзало, ровно ветром сдуло. Был – и нету! Пустынные стояли валуны, по которым зло щёлкнули пули.

* * *

...Ветер хлопающим пузырьём надул на спине Гобзало черкеску; плетью хлестал в лицо, слёзы застили глаза, в ушах режущий свист...

Разъярённые казаки кинулись ему вдогон, но верный, боевой конь, разметав длинную гриву, стремительно мчал своего седока, уносил прочь от преследователей.

Он оглянулся только тогда, когда проскакал не меньше версты.

Талла-ги! Всё шло, как надо! Чор, будто понимая ободряющие слова хозяина, напрягал все свои силы. Разрыв между горцем и казаками рос с каждой минутой. Как вдруг!...Хужа

Алла! Конь быстр, как ветер. Но пуля-дура, ещё быстрее...на то, она и пуля! Скакун под мюршидом, точно взбесился, яро лягнул воздух, взвился свечой и со всего маху рухнул на бок, накрепко подмяв под себя ногу хозяина, не успевшего вырвать её из узкого стремени.

– Чор, брат!! – забыв о погоне, в отчаянье зарычал Гобзало. Он обнимал своего дорогого коня, тщетно пытаясь облегчить его страдания; напрасно шептал в его напряжённое ухо заветные слова.

Хо!..Гобзало снова очутился в западне, и на сей раз, спасения из неё не было. Он яростно попробовал было высвободить ногу, но всё большая чугунная тяжесть наваливалась на него. Урадинец затравленно бросил взгляд на утробно храпевшего коня. Его били предсмертные судороги. Выпученный с агатовым блеском глаз стремительно наливался кровью, как слива гнилью; из раздутых ноздрей потоком текла кровь. Уходящая жизнь в последний раз сотрясала его напряжённое тело...Гобзало, как раненный зверь зарычал от боли и обиды. Позади яростный топот копыт, злорадные крики и свист – погоня приближалась, и не было больше надежды на жизнь, на спасение. Рядом с придорожным камнем сочно и звонко поцеловалась пуля. Как злобные осы, жужжащее крошево посеколо лицо.

...Гобзало лежал ничком, не двигаясь, но остро воспринимая и пряный густой запах крови, и оглушительный грохот подков.

Изнутри нахлынула дикая, душу выворачивающая тошнота. Он чувствовал кровью и плотью; настал час его гибели.

О, Алла!..Вся прежняя жизнь взвихрилась и промелькнула перед ним, как это бывает в минуты смертельной опасности.

– Э-эй-ваа-а!..Как бесславно я погибаю! – глухо, как волк, попавший в капкан, выл и рычал он. – Пр-рости меня Имам, что не с тобой...Пр-ростите и вы, братья, что не сумел я отместить за вас!

Встряхнув головой, и рывком приподнявшись на локте, он увидел перед собой: пенистую лошадиную морду, коричневую черкеску с густыми рядами газырей, ноздрятое дуло винтовки и налитые злостью глаза на буром от загара лице.

– Тю-ю! Не дёргайся гад! Зашибу-у! – заорал казак и свинцовый шрам, на его облупившей щеке, накалился жаром, став рдяным и спелым, как гребень петуха.

В это мгновение подоспевшие казаки осадил над ним коней, подняв клубы пыли. Живо, держа винтовки наготове, взяли в оцеп.

Тот был, точь в точь подстреленный беркут. Весь забрызганный кровью своего коня, с оскаленными зубами в бороде и горящими глазами, он дичало, озирался по сторонам, опираясь на левую руку, в правой держал кинжал, готовясь дорого продать свою жизнь. В его мрачном взгляде страха не было, одна ненависть и презрение.

– Э-ээй! Дэлль мостугай! – свирепо прорычал он. – Чиво ждэш-ш. собака? Убэй мина, гяур-р! Вах! Мой рэзал бы твой глотка, как баран, рука нэ дрогнул...Килянусс Аллахом!

Казаки колебались секунду другую: убить, не убить? Один из них раскострил трубку, колупнул носком ялового сапога щебень.

– Как думаеш, Петро, он чьих кровей будет? Даргинец? Капучин? Андиец, может? Ят в изних племенах небельмеса...

– Всё мимо. Авар! Я их гадюк знаю! Точно тебе гутарю, Семён.

Верь, я пороху нанюхался в Дагестане не с твоё! Знаю их упырей и по крою, и по говну ихнему. Ишь, матёрый волчара! Ему и жить то паскуде пустяк, а он всё одно...за кинжал схватился.

– Э-ээй, шакалы! Билят, сучка ваш мат! – жажда одного – быстрой смерти, харкал страшные оскорбления, Гобзало снова скрежетал зубами; в бессильной злобе сжимая рукоять кинжала. – Убэй, урус! Стрэляй, заруби мой, если твой смэлый. Если мужчина!

– Это он – стервец, Лавруху кончал! С-сука! – лязгнул затвором крепкоплечий рыжеусый казак, померцал зелёными, олютевшими враз глазами, и хищно оголяя плотные клыкастые зубы, прохрипел: – Анну дай, братцы, я ему мозги выплянсу! Мать нашу ишо, пёсья лодыга, поминать будя! Уж эйтот коршуняга в досталь наклевался казацким мясом! Напился кровушки гад!

– Погодь, Проха! – густобровый хорунжий Первухин заступил путь рыжеусому. Цепко прирос корявыми пальцами к стволу винторя и рявкнул: – Шойт рот раззявил! Ишо рано тебе офицерству свою казать... Сперва выслужись, а уж потом гавкай. Не ор-ри! Плевать мне на твою мнению. Дурра-а! Кубыть не зришь, каков зверь нам попался?! Да супо-онь, ты! Глянь, один конь чаво стоять!

– Да-аа конь и впрямь шибко добёр под ём был... – с сожалением протянул кто-то за спиной Прохора.

– Сбруя-то, сбруя-а! – воткнул другой.

– А седло? Стремена?! Эт сколько же стоит тако добро? – летели наперебой возбуждённые голоса.

– Жаль, что Семён не его волка пулей срезал, а коника. Не конь, а тигра! Такого только пулей и догнать! Нечета нашим холстомерам.

– Замолчь! С этим добром понятно, гнить не оставим, – звонко вгоняя клинок в ножны, усмехнулся Семён Подпруга. – А сым шо ж прикажешь, кум?..

Гобзало будто шилом ткнули: медные пальцы крепче сковали рукоять кинжала, глаза полыхнули звериным огнём. Перед ним стояла высокая. Крепкая стена из усталых суровых лиц, папах и черкесок. Он впитал в себя серые колючие глаза, ржавую щетину на щеках, мелкую злобную дрожь около рта хорунжего и готов был пронзить кинжалом любого кто первым наброситься на него, как вдруг!...

Сокрушительный удар со спины едва не выбил из него дух. Били тяжёлым прикладом, с плеча, но так, чтоб остался «в живее».

Верный кинжал отлетел под копыта коней. Гобзало бешено рвался, рычал, пытался прокусить зубами чей-то сапог... Харкал кровью, хватался за голову, прижимал к багровому лицу широкие ладони. Ему казалось, что из глаз его сочится кровь, а весь привычный мир, безбрежный, желанный, но враждебный и жестокий теперь дыбитя, рвётся из-под ног и вот, вот растопчет, превратив его в безобразную, лишённую всякого смысла бордовую развалину из костей и вздутого мяса...

Он ещё помнил, как два казака силой вырвали его из-под коня, обезоружили и так туго связали ему руки узкими сыромятными ремнями, что кровь выступила брусничными каплями из-под кожи. Гобзало невыносимо страдал, злобно щёлкал зубами, кусал разбитые губы, сдерживая стоны.

– Затягивайте иш-шо туже! – сорвано каркнул хорунжий. – Шибче! Шибче! Сказано вам...

– Иай, шакалы! Сывязанный бит, вот вэс твой храбраст, гяур-р! – с задранной на спину головой, с выпуклым клокочущим горлом, хрипел Гобзало. – Затягивай... Затя-ги-вай, туже, шакалы... Мой всё адын пащ-щада нэ запросит. А-аа-ааай... свыначый кр-ров!

– Заставим! – весело хахакнул Семён Подпруга и зло толкнул ему в зубы, как псу нагайку. – Ишо не у таких волчар шкуры дубили!

* * *

Дальнейшее Гобзало не помнил. Минуту он ещё ощущал резкую смесь каких-то разнородных запахов, силился вернуть сознание, переламывал себя – и не переломил.

Воллай лазун! Замкнулась над ним чёрно-алая, набухшая немотой пустота. Лишь где-то в вышине углисто горел какой-то опаловый, окрашенный бирюзой клочок да скрещивались штыки и кинжалы молний.

Казачи, обобрав мюршида до нитки, сняв с его околевшего Чора всё кроме копыт и шкуры, привязали пленника верёвкой к коню хорунжего и тронулись было в путь. Но аварец идти не мог, и никакими угрозами невозможно было заставить его безжизненное тело подняться и бежать за конём.

Ан, охота пуще неволи! Старшему в отряде хорунжию Первухину – вынь да положь, – зело, как хотелось выслужиться, доставить знатного пленника живым пред грозные очи атамана Нехлудова.

Решено – сделано. Горца взвалили на коня позади застрелянного им казака Лаврухи.

– Вот и ладнеть, братцы! – довольно крякнул Первухин. Посчитались с гололобым баш на баш. К-хаа! Выбили волку кровя из сопелки! Не боись, робяты...Кровь за кровь! Атаман энтова шайтана живым не выпустит. От хера уши! Ну, будя воду толочь. Воротать до своих время! – Он дёрнул повод. – Тю-ю! Балахвост тугомордый! Айда! Пош-щёл, будь ты неладен...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.